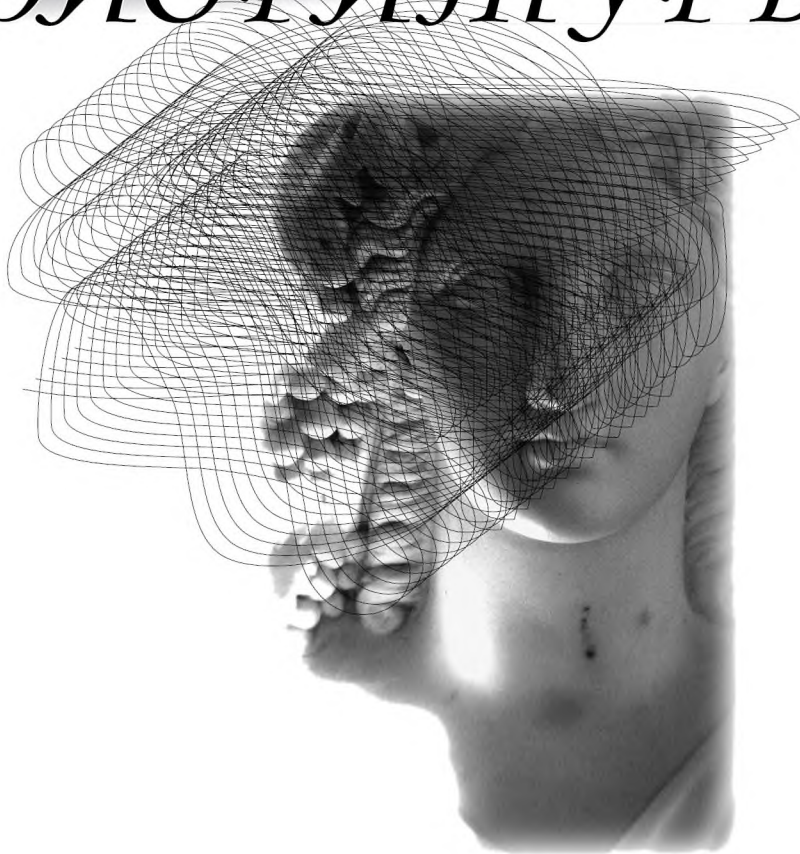


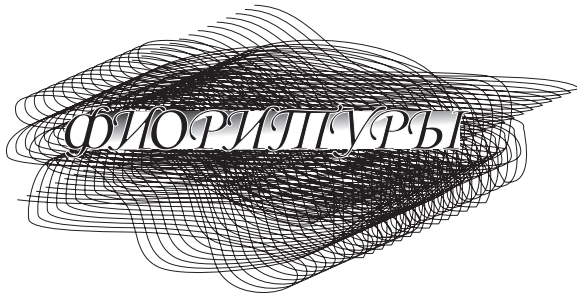
ФОРМАТУРЫ

Евгений Звягин

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

# ФОРМАТУРЫ







ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

ФЛОРИДАНТИВЫ



Juolukka

Санкт-Петербург 2009

Евгений Звягин. Фиоритуры.  
Юолукка. СПб., 2010 — 128 с.

художник Василий Бертельс  
фото Евгений Волковський

Издано в авторской редакции

© Е. Звягин  
© В. Бертельс  
© Е. Волковський  
© Издательство «Юолукка»

# Предисловие

Когда я жил на Петроградской стороне и был пятиклассником, мне в голову взбрело заниматься музыкой. Виною тому оказались только что прочитанная книжка «Осуждение Паганини» и собственное пылкое воображение. Тут пошли чудеса.

Во-первых, музыкальная школа размещалась в особняке бывшего премьер-министра графа Сергея Юльевича Витте на Кировском, Каменоостровском то ж, проспекте. Представьте себе — не налоговая контора, не банк, а детское учреждение. Бронзовые ручки дверей, латунная гарнитура на окнах, наборный паркет... Во-вторых, мне выдали из каморки под лестницей казенную, уже по тем временам старинную, виолончель и смычок, сработанный из красного дерева и перламутра, нарядный, как театральный бинокль.

Здесь-то я и подслушал слово «фиоритуры» — то есть украсы, расцветывающие основное, как бы «безыскусное» пение. Неплохой результат для неполного года занятий.

Уже выросши, я участвовал чуть ли не в первом выпуске самиздатского литературного альманаха. Было это на Малой Садовой, где собирались разные люди — налетчики, самолетчики, поэты и раздолбайи достославной эпохи шестидесятих годов. Назывался он по-наивному — «Фиоретти», что значит — «Цветочки», в память об одноименном произведении не когонибудь — римско-католического святого Франциска Ассизского. Впрочем, в предлагаемых читателю «Фиоритурах» я не пытаюсь ничего проповедовать.

Повесть «Задвижка» написана тринадцатью годами ранее, в 92-м, но кое-чем близка заглавному тексту. Ну, хотя бы тем, что пронизана петербургской атмосферой, а так же дробностью и многополярностью изложения.

Евгений Звягин.  
*12 сентября 2009 г.*  
СПб.



# ФИОРИТУРЫ



# Разговор

Позвонил в Москву знакомому критику. Трубку взял его сын.

— Здравствуйте! — сказал я. — Говорит такой-то.

— Здравствуйте, очень приятно. А отца нету дома. Он сейчас в Швеции. Не беда — пошлите ему письмо по Е-мейлу.

— С удовольствием бы, да у меня нет компьютера.

— А на чем же вы работаете?

— На пишущей машинке.

— Ну, вы авангардист! — воскликнул молодой человек.

# Три мента

Возвращаюсь пьяненький из гостей. Выхожу из метро на набережную канала Грибоедова. Горит шар Дома книги, плещутся рябенькие волнишки, народ снует часто, как днем.

Словно хищные птицы бросаются ко мне три мента, совиными своими глазами засекающие шаткость моей походки. Плотненько берут под руки. Едва успеваю разглядеть щегольскую их выкладку: кожаные куртки, сверкающие, как пачки черных снежинок в шемакинском «Щелкунчике», зайцевские кепи, резиновые дубины, пистолеты и браслеты на поясах. Жуть!

— Документы!

Отпущенными руками шарю в карманах.

— Кажись, дома оставил, — говорю, холодея.

— Ах вот — могу предъявить!

Протрезвевшей рукой протягиваю пенсионное удостоверение.

Даже не раскрыв его, менты исчезают, крыльями распахнутых курток на миг заслонив сияющий зингеровский шар.

Разбухшими своими мозгами пытаюсь сообразить, в чем секрет подобного милосердия.

Соображаю — с пенсионера взять нечего!

# О существенном

— Что есть Тетраграммофон? — спросил я Учителя.

— Конечно же, шесть циней хлопка! — ответил он и замахнулся на меня бамбуковой палкой.

— Тат твам аси! — поддержал индуист.

— Я — Аль-Хакк! — брякнул суфий и взорвал очередную петарду.

— Ну дак? — спросил я Учителя и получил увесистый удар по башке. Лежал на спине, созерцая перистые облака, но потом и они пропали.

# Смерть, не смерть?

Наша Малая Посадская улица в пятидесятые годы прошлого века представляла собой настоящую слободку, где все всех знали; особенно по воскресениям и вечерами, когда завод не работал. Мы, уличные пацаны, передвигались небольшими летучими стайками, готовые мигом сорваться в случае опасности и улететь проходными дворами.

Но здесь было всегда интересно: то пьяные бабы вцепятся друг другу в волосы и завизжат так, что дворник мигом начинает свистеть в милицейский свисток; то приличный молодой Щапов, зажиточную семью которого все ненавидели за гараж, построенный главою семейства рядом с детской площадкой, взорвет в ихней комнате настоящий зенитный снаряд, так что вместе с легким дымом вылетит во двор коробка окна, а потом выйдет на улицу, бледный, но целый; то Матросов начнет гонять голубей, и птицы, белые, с красным от косеющего солнца отливом, скрываются в позднеголубом, становясь мельче макового зернышка; это зрелище вспоминается как одно из самых сильных и сладких эстетических ощущений.

Однажды подпустил в наши юные жилы адреналина блатной по кличке Раскидай, недавно откинувшийся по «ворошиловской» амнистии. Он щеголял в шикарном коричневом костюме, сшитом из добротной ткани «Ударник», надетом, правда, на голое тело.

Однажды на противоположной стороне улицы, на гладко выстеленном известняковыми плита-

ми тротуаре, у забора из стальных пик, за которыми рос никем не тревожимый заводской палисад — узкий, метра в четыре и длиной от улицы Чапаева до Певческого переулка, появился и стал стрелять сигареты, а также приставать к местным с разговорами бритоголовый тип в брюках клеш и футболке «апаш», под которой бугрились основательные желваки загорелых бицепсов.

Раскидаю не понравилось, как незнакомец хозяйничает на его личной улице; он подошел к нему руки в боки, ногами выписывая нечто, напоминавшее матросский танец «Яблочко», только без приседаний. Их сторона улицы мигом опустела, зато на другой слетелись, наверно, все разновозрастные пацаны Малой Посадской.

Судя по мимике и жестам, мощью своей напоминающим ассирийские барельефы, разговор был мужской. Вскоре титаны стали прохаживаться, не прекращая оживленной беседы. И тут Раскидай всех нас позабавил.

Незаметно для собеседника он достал из кармана узкую финку и продолжал обмен мнениями, поигрывая ею в заложенном за спину кулаке.

Мы все как-то заколбасились, задергались, заулыбались, но — ни свиста, ни гогота — момент был ответственный. А они еще минут десять ходили мимо терракотовых стен завода, сквозивших сквозь зелень деревьев и пики забора. Наконец пришелец протянул Раскидаю широкую загорелую лапу и тот пожал ее, переложив за спиною свой узкий нож из правой руки в левую. Потом чужак повернулся к Раскидаю спиной и только после этого, отойдя шагов на пять, харкнул на мостовую. И направился в сторону Кировского проспекта.

# Смерть под парусом

Смерть в Петербурге ничем не отличается от смерти везде. Глядя со стороны — это факт весьма физиологический, фиксируемый поднесением ко рту зеркала и закрепляемый возложением на глаза платков и подвязыванием челюсти платочком с узлом на затылке — будто у новопреставленного болят зубы.

По сути же это — тайна, равно для бухгалтера и поэта. И под могильной плитой уже не «профессор Михельсон» или «поэт Иннокентий Анненский», как рекут новодельные надписи, а, скорее, «раб Божий Федор Иванович Тютчев», как свидетельствует надпись старинная, хоть был он при жизни тайным советником, и камергером.

Так что речь может идти не собственно о смерти, а об отношении к оной. О некоторых свычаях и обрядах, ее сопровождающих.

Например, в советские годы, когда манифестировался «вместо сердца пламенный мотор», на могиле водружали пропеллер, как мы то наблюдаем у паперти Троицкого собора Александро-Невской лавры. Или железную пирамидку с пятиконечной звездой под серебрянку. Впрочем, частенько так получалось, что обходились и без того.

Прекрасное тело молодой балерины, отказавшей, по слухам, Зиновьеву и утонувшей во время лодочной прогулки по Неве при загадочных обстоятельствах, до костей обсосала серебристая корюшка.

Тут моя мысль раздваивается. Можно, вслед за Шекспиром, профилософствовать о круговороте природного вещества, о короле и затычке, а можно порассуждать на тему: «Художник и власть».

Ни то ни другое меня, поверьте, не привлекает.

Поразмышляем о природе художественного, применительно к взятой теме.

Искусство есть искусство иллюзии. Чего гениальный беллетрист Лев Николаевич Толстой не хотел понимать, сетуя на раскрашено-пыльные тряпки декораций и толстую тетку, которая распевая, изображает умирающую от чахотки даму полусвета. Или что-то в этом роде.

Однако если мы примем сценические условности, то увидим в волжском богатыре немецкого Мефистофеля.

И сладкие звуки, издаваемые скрученными бараньими кишками, по которым скребут натянутым конским волосом, еще подкрепят впечатление.

Один американский дурак даже застрелил по-настоящему Яго за его сценические негодяйства. Простодушному зрителю не достало аристократического скепсиса русского классика.

Клоню я к тому, что мысли о смерти, а главное, провоцируемые ими всякого рода данс-макабры и гибнущие Помпеи, извлекаемые из воспаленного воображения творца, есть земные фантазии, тракту-

ющие земными средствами — о непознанном. Иного художнику не дано.

Впрочем, петербургский артист поставлен в более выгодные условия, чем какой-либо другой в целом свете. Ибо нездоровая, болотная, чадная петербургская атмосфера пропитана предощущеньем танатоса.

— Как поживаете, батенька?

— Предсмертно живем-с!

И эротически-погребальные фантазии Федора Сологуба выросли на богатой гидропонике, в питающую жидкость которой вмешана какая-то смерторадостная субстанция. Каков ее тайный состав — трепет ли паруса, под которым насмерть простудился царь Петр Алексеевич; тень ли эшафота поручика Миновича на Сытном рынке, осеняющая красивые усаые физиы торгующих здесь азербайджанцев и нитратные овощи, которые они продают; отзвуки ли предсмертного хрипа публично вздергиваемых на Семеновском плацу эсэсовцев — я не знаю. Но что-то обогатительно-тленное, что-то располагающее к мыслям о смерти содержится в питерском бытии, как ни в каком другом.

Думаю, что мы, петербуржцы — чемпионы по размышлению о смерти. Ибо вспоминают о ней не там, где она снимает богатую жатву, не в голодающих регионах земли. Там, как мне кажется, все происходит более или менее буднично и безотчетно. О смерти думают там, где человеческую жизнь окружают прекрасные и зловещие декорации, приподнимающие любую, даже самую малозначительную персону, там, где загадочный Михайловский замок, в одной из камер которого затоптали императора Павла I.

О смерти, как о чем-то значительном, в первую го-

лову думает тот, кто придает своей жизни слишком большое значение, тот, кто нескромен. А среди этих, лучших в мире подмоштов, как сохранить в душе некоторый коэффициент самоотрицания, стихийной анонимности? Тем паче художнику, нескромному по самой своей сути?

Вывод напрашивается такой, что тема нашей, так сказать, медитации — Город, Художник, Смерть — есть тема человеческого тщеславия. Чем больше человек себя понимает, тем больше он о смерти себя, замечательного, и думает. И, в меру собственного таланта, нафантазирует экзистенциалистов Кирилловых, бомбистов Аблеуховых-младших и старушек, вываливающихся из окон.

Причем тварная, земная природа фантазий о смерти, их относительность художникам совершенно ясна. Вот, к примеру, Иосиф Бродский в своих стихах обещал, мол: «На Васильевский остров я приду умирать». А сам раздумал и не пришел. И сердиться на него за это нелепо — прекрасная подвернулась фигура речи.

Одной из лучших поэтических аналогий, земными средствами трактующих о внеположном и созданных в современном, можно сказать, Петербурге, является двустишие покойного Олега Григорьева:

*Смерть прекрасна и так же легка,  
Как выход из куколки мотылька.*

Так или нет, мы проверить не можем. Но придумано — кратко и здорово.

# Гламур — мон амур

Во времена Малой Садовой мы грелись в предбаннике Театра Комедии, что сразу за входами в Елисейский. В двух шагах от нас — «на жердочке» — шикарных медных перилах огромной витрины магазина пускали пар изо рта и играли в «шмен» центровые. Не скажешь, что наши дорожки вообще не пересекались. Помню красивого, добродушного бандита (в старом смысле слова — не «спортсмена» в лампасах) по кличке Шура Балаганов, с которым можно было без риска для жизни распить бутылку портвейна.

В одну из зим второй половины шестидесятых у меня случился платонический роман с невысокой и коренастой травести из Театра. Как-то мы познакомились и разговорились — скорее всего, в кондитерской, куда кто только не забегал — будущие фигуранты «самолетного» дела, поэты, фотографы и, конечно, артисты.

«Платонический» говорю с болью в сердце — мы оба с ней были нищими, не имел я ни денег, ни хаты (сам спасался на Малой от родительского телевизора, под которым стоял мой диван). Она, добрая душа, таскала меня по театрам (благо ее удостоверение это позволяло), а мне повести ее было некуда, такую простую и обаятельную.

Расстались. Я по-прежнему навещал Малую Садовую, пил дешевый портвейн из горла с товарищами по несчастью, иногда под хмельком видел Валю, говорил: «Привет», «Как дела?», иногда:

«Может, встретимся?», но вел себя, в общем, совершенно корректно.

Вдруг доходит до меня сообщение с «жердочки»: «Отстань от Валентины. Не то — кранты. Зденек».

Зденек был чемпионом Одессы по боксу — резкий, красивый, несмотря на сломанный нос, чернявый и обаятельный. При желании мог отвесить неплохих пиздюлей.

Здороваться с милой Валентиной я, разумеется, перестал. Наступило лето, необходимость греться в предбаннике отпала, и мы всей гурьбой переселились в «собачий садик» у Зимнего стадиона — с неоштукатуренной кирпичной стеной, увитой почти до самого верха диким виноградом и донельзя живописной (через годы ее оштукатурили, погубив дикий виноград, а ныне эту красивую стену сменило мурло уродливого дома с пентхаузом; перед ним для отмазки выставили ни к селу ни к городу бронзового Тургенева).

Так вот. Как-то летом сижу я в садике и покуриваю. Тут ко мне подваливает Витя Хейф, поклонник Хайдеггера и друган «центровых».

Я молча протянул ему бутылку «Хирсы», он сделал глоток, сплюнул, а потом сообщил:

— Знаешь, почему тебя Зденек не тронул?

— Отнюдь, — сказал я и пожал плечами.

— Потому что ты — еврей. «Так и передай!» — говорит.

— Ну вот, слава Богу! — сказал я, мягко отбирая у Хейфа бутылку. — За еврейскую солидарность.

И допил до дна, а то я его знаю.

К этому незатейливому повествованию хочется прибавить некое, не уверен, подходящее ли к случаю, соображение. Уже в нынешние времена, просматривая глянцевого журналы, читаю про любовные эскапады современных артистов. То с одним сойдется какая-нибудь всемирная знаменитость, то с другим. Прямо сплошная безнравственность получается.

А ведь надо учесть, что эти люди обладают сильнейшей природной притягательностью, по этому принципу их и отбирают! Плюс к тому, они все феноменально красивы! Стало быть, если на них клюют миллионы зрителей, как же им пройти друг мимо друга? Тут ведь их приятные качества суммируются! Что бы мы делали, окажись на их месте?

Ну да мы на их месте никогда не окажемся. Рылом не вышли.

## Два града

В молодости я частенько прогуливался Михайловским садом — полным детского смеха, собачьего лая и всяческой жизни, почему-то не мешавшей растениям — черемухе и сирени, трем огромным серебристым тополям, создававшим под верховым солнцем целую поднебесную страну, загадочную, палево-голубую. И липовые аллеи не торчали из растоптанной грязи, а росли себе на добротной траве газонах, огибая большой английский луг и бумеранг пруда, в августе настолько зараставшего ряской, что он казался солдатской манеркой, покрытой застывшим суповым жиром.

И роскошные столбы врат не были изуродованы неровными квадратными дырами — следами хищно вырванных, а до того — красиво отлитых, обожженных и заложенных цветных изразцов.

А еще и фасад Михайловского дворца с большим травянистым каре, фронтоном и колоннадой! А павильон Росси с романтической пристанью к Мойке, впоследствии «реставрированной» — перебранной тят-ляпистыми руками, незнакомыми с астрольби-ей и отвесом!

Как говорится, в молодости все было лучше — и девочки красивее, и мы — подороже. Ну, да я не о том. Где-то уже поминал и опять припомню — в темном, как бы неизвестном углу сада стоит жилой дом солидной, эдак николаевской архитектуры, упрятанный за кустами детской площадки.

Окна его первого этажа расположены в шаге от газона — но был там собственно не газон, а разбитый местными жителями на свой вкус палисадник — несколько наивных клумб, старательно обложенных поставленными ромбом кирпичами; там были посажены ноготки, анютины глазки, львиный зев, душистый горошек. Словом, полный набор, украшающий чуть ли не каждую железнодорожную станцию.

Два сада никак не сосуществовали, они и не замечали друг друга, игнорировали, как бы даже гордясь своей внеположностью. Но контраст между разумно расчерченным, огромным — и миниатюрным, самодельным — был очень силен. Хотя оба в своем самостоянии, в своей общей идее — имперского и частного — были равновелики.

Я выходил из ворот Михайловского и шел полюбоваться чудесной выразительности распятием под узорчатым козырьком, поставленным со стороны канала. Христос с открытыми голубыми глазами глядел прямо в душу тебе. Его ноги были умащены елеем, а на каменных плитах пониже прободенных гвоздями ног стояли простые стеклянные банки с цветами, всегда свежими и ароматными, как и елей.

В банках цвели ноготки, львиный зев, анютины глазки, душистый горошек. Приношения от той частной России, через которую передается что-то в народе, какой-то цемент допетровский, еще доимперский, какая-то скрепа.

Некий мыслитель сказал, что царь Петр построил свою империю на расколе основания. Два сада — два вертограда — эту мысль оттеняют. Впрочем, палисадник уже давным-давно срыли, в связи с Зоолиетом.

# Перочистка, пенал, Гинденбург

В первых классах школы на улице Мира, в которой я учился, на переменах царил сплошной обмен: меняли почтовые марки, немецкие деньги и керенки со свастиками (тоже, небось, был фашист!), перочинные ножички и что ни попади.

Я же завидовал самым обычным вещам, но добротным: девчоночьим перочисткам, сработанным из разноцветных кружочков плотного сукнеца, соединенных заклепкой, деревянным пенальчиком с наборной крышкой, которая одним движением убиралась куда-то заподлицо, стальным прищепкам для брюк, чтобы кататься на велосипеде и самим велосипедам, которых у меня после трехколесного никогда не было.

Но и у меня была вещь, которой можно гордиться — большая серебряная монета. С решки ее украшал портрет какого-то старого мордатого немца, а с другой стороны — хищный одноглавый орел, расправивший крылья. Монета была «трофейная» и вызывала зависть у школьных нумизматов.

Даже маленькую наборную финку лагерной работы, невесть откуда у меня взявшуюся, я подарил своему приятелю Павлику Поляченко, а монеты не отдавал никому.

С этой финкой вышел такой казус. Мы все гуляли в парке Ленина: ловили на удочку «кобзду», то есть мелкую остроперую рыбку-колючку во рву за «Великаном», которую тут же выбрасывали, лазали по

старинным медным пушкам перед Артиллерийским музеем, лепили снежных баб неподалеку от ортопедического института, лишь краем глаза ухватывая Богоматерь с Младенцем, осенявшую наши детские игры и подростковые шалости; Богоматерь оказалась работы Петрова-Водкина и до сих пор радуется своей точеной, какой-то декадентскою красотой.

А Павлика Поляченко вечером в парке прихватил милицейский патруль, изъял подаренную мною финку, и вскоре в комсомольской газете «Смена» появилась публикация, в которой отмечалось, какой он (совершенно, замечу, безобидный еврейский мальчик) нехороший, в сущности, человек.

Как бы в отместку Павел раздобыл шикарнейший немецкий штык-нож — обоюдоострый, длиной в полруки, в медных ножнах. Было чему позавидовать! Из дому он его, конечно, не выносил.

Вскоре я переехал к Кировскому заводу и видеться с ним перестал, а впоследствии в той же «Смене» вычитал, что Поляченко стал чемпионом города... нет, не по фехтованию, а по пулевой стрельбе.

Морали в моем рассказе, в котором трижды упоминается слово «зависть», нет ни на грош, есть одно добавление — выросши, я узнал, что портрет старого брыластого немца на серебряной монете изображает фельдмаршала Гинденбурга.

# Идея

Вот, научилась же наука отцеживать комара — отсеивать радиосигнал с далекого космического аппарата, находящегося в миллионах километров от Земли, делать его внятными несмотря на космические помехи. У меня есть рационализаторское предложение, которое должно перевернуть историческую науку.

Я про то, что звук — это определенная волновая сила, которая влияет на все происходящее, как стальная иголка на валик фонографа. Ну, к примеру: режет какой-нибудь средневековый русский мальчик липовую ложку, а его дедушка-богатырь, всем бондарям бондарь, делает громогласные указания. И острое ножа поддается вибрации его голоса, записывая оный на липовой чурке. Так мы получаем в виде старинной ложки если не компакт-диск, то хоть, образно выражаясь, виниловую пластинку, с которой при помощи тонких приборов, сравнимых с космическими, можно снять голос деда и, помимо матюгов, услышать еще и советы старого мастера. Каково?

Думаю, метод перспективный.

# Сик транзит gloria mundi

За что купил, за то и продаю. Мне рассказал эту бытовую, если можно так выразиться, историю один знакомый музейщик.

Однажды в Ясной Поляне объявили аврал. Должна была в знаменитую усадьбу транзитом заехать Индира Ганди — премьер-министр далекой, но дружественной Индии, страны, как говорится, чудес.

Ну, там пару дней все красили, подметали, косили, белили. И вот прибыла величественная индийская гостья с шикарной седой прядью на высоком челе.

Ей все показывали и рассказывали, на могилку водили, у знаменитого бюро фотографировали. Она поощрительно улыбалась, милостиво давая понять, что приемом довольна.

И вот, перед самым ее отъездом возникла заминочка — правитель ведь тоже человек, о чем советские музейщики даже и не догадывались. В выжидательной паузе премьер-министра и сопровождающих лиц содержалось некое послание если не ко всему человечеству, то, по крайности, к музейной службе. Надобно посетить туалет.

Тут музейщики зачесали репы и ужаснулись. Был у них один общий сортир, для посетителей и сотрудников. И вести туда небожительницу не было никакой возможности.

Однако делать нечего — повели. Оттуда она вышла бледная, злая.

Сами подумайте — золотое дитя Неру, выросшее

в исключительно аристократической обстановке — она и дерьма-то собственного, извините, не видела за ненадобностью — и тут — такое!

Не сказав ни слова, не попрощавшись, кинулась она в свой царственный лимузин, хлопнула дверцей и отбыла дальнейшим транзитом неважно куда.

Тут-то до лопушистых музейщиков и дошло, что земные цари, правящие сотнями миллионов простых обывателей, такие же люди, как и мы, грешные.

История эта, а главное, вытекающая из нее мысль, распространилась весьма широко. Не исключаю, что первые дуновения вольнодумства и перестройки повеяли в обществе именно благодаря ей. О дальнейшем, широко разлившемся, запахе уж и не говорю.

# Урок

Однажды мы с Олегом Охапкиным сильно наподдавались портвейну в садике и двинули погулять. Добре-рели до Спасо-Преображенского собора, и розовый в сумерках свет из дверей и окон церкви, а также красивое, лишь отрывками доносящееся до нас пение туда поманили.

Мы стояли среди толпы старушек, вдыхая сладостный запах ладана и, как умели, подпевали молящимся, крестились истово, и душа, казалось, возносится в горние выси...

Тут к нам подошел просто одетый молодой человек крепкого телосложения и сказал вполголоса: «Молодые люди, вы пьяны, вас качает. В таком виде нельзя находиться в храме. Покиньте, пожалуйста». Мы и ушли.

# Справка

Журналистский штамп «поколение дворников и сторожей» уже тем паскуден, что при назойливой своей повторяемости затемняет подробности дела. Великое двадцатипятилетие (с 60-го по 85-й) было изумительно хотя бы своей плодовитостью. «Проклятый застой» предоставил своим пасынкам такую широкую возможность числиться на службе и получать даже деньги, не затрачивая особых усилий, какая, вероятно, не повторится уже никогда.

В доказательство приведу неполный, конечно, реестр халявных работ.

Можно было трудиться сторожем в избушке с печуркой где-нибудь на складе железобетонных изделий. Электроплитка, чайник, кастрюлька со «змеиным» супчиком, радиоточка. Прихваченная с собой пишмашинка или планшет с листами ватмана. Друзья и подруги. Приблудные, но верные псы.

А захотите — идите в котельную на газе или угле, где приходилось «мантулить», по выражению одного из митьков, сутки через трое. Бывало — и через пятеро.

Можно стеречь машины на автостоянке. Даровое угощение, «левые» деньги за пропуск на постой приблудного автомобилиста и проч.

Можно даже ухаживать за садом, в просторечье именуемом Пале-Рояль, что и проделывал, не шевельнув и пальцем, поэт Петр Чейгин.

Изумительной была работа по охране лодок и катеров. Плещется Мойка или Пряжка, или Нева с видом на залив. Грают чайки. Пейзажи, просторы плюс весь тот набор, о котором выше.

А слабо гонять почтовые вагоны через Союз, подрабатывая «внутренней контрабандой»? То есть перебра-сывая мелкий опт дефицитных товаров из одного кон-ца страны в другой.

Работа механика по лифтам тоже не очень-то утруж-дала. Ну, застрянет кто-нибудь, позвонит, пойдешь выру-чишь. Зимнею ночью, проходя по крыше жилого дома от одного машинного отделения лифта до другого, увидишь дымчатую от изморози луну и серебряный след самолета в звездном пространстве.

Можно было работать аквариумистом, кормя рыбок и меняя им воду в каком-нибудь доме культуры. Работа бластная, потому что редкая.

Некоторые оседали на вахтах различных учреждений. А другие пускались в дебри подгородных кустов — чистили ка-навы между полями. Порубишь в поте лица денька два, пожа-ришь с друзьями-помощниками шашлык, выпьешь портвейна — и свободен недели на две.

Михаил Шемякин, по слухам, оформлял доску почета в Комитете государственной безопасности.

Некто, не стану называть имени, сторожил брошенный на капремонт дом, названивая по не отключенному еще телефону в Майами, Иерусалим и другие неближние го-рода.

Володя Алексеев (прозаик) трудился (сутки через трое) инспектором пожарной охраны на фабрике «Верете-но». Распространенная была работенка.

Прозаик Борис Рохлин, служивший переводчиком в какой-то технической конторе на Дворцовой площади и сидевший там от звонка до звонка, некогда пожаловался Кириллу Бутырину:

- Да, гением не станешь в свободное от работы время...
- На что Бутырин справедливо заметил:
- Надо делаться гением в *рабочее* время.

# Оазис

Некоторые признаки провинциального населенного пункта еще сохранялись в городе Пушкине в семидесятые годы. Особенно это чувствовалось на базаре, где продавались свежайшие и дешевые овощи с пригородных полей, в биллиардной, может быть, единственной во всей Ленинградской области, и на параде в честь Седьмого ноября.

Тогда я работал экскурсоводом при Всесоюзном музее Пушкина, где подружился с Сергеем Стратановским, делавшим первые успехи на поприще стихотворчества.

Общность интересов нас сблизила, и дабы продолжить нескончаемые беседы, прерываемые экскурсиями, мы после работы шли в бар «Янтарь».

В городе сохранилось множество типовых особнячков для придворных — например, домик Карамзина, расположенный через дорогу от дворца, поражал своей скромностью и простотой. Все это было, как я понимаю, жилье казенное, коронное, а потому — экономичное, иначе — денег не напасешься. Вот такой — простой, без украшений, двухэтажный, правда, каменный особняк занимал бар «Янтарь».

И его директор был хозяйственный гений. Больше нигде в семидесятые годы я не встречал вареных раков и копченых подлещиков, кроме как в «Янтаре». Простые эти лакомства превращали заведение во что-то особенное. Сейчас, когда Питер и его пригороды методично уничтожаются уплотнительной за-

стройкой, этот бар, наверное, приказал долго жить...

А тогда мы с Сергеем забирались по сквозной, как в парижской «Ротонде», лесенке на второй этаж, пили пиво, сосали раков и продолжали еще утром начатый разговор.

Один мой знакомый, уроженец города Пушкина, после рассказывал, что кто-то из местных указал ему на наш столик и заметил с уважением: «Там сидят поэты».

Ничего более лестного я в жизни своей не слыхивал.

# Перебежчик

История вышла, прямо скажем, неординарная. Хочу ее рассказать. Лежу я тридцатого декабря, в день, когда наряжают новогодние елки, один в Веселом поселке посреди одинаковых зданий, на седьмом этаже, на личной тахте. Жена меня бросила, а до следующей было еще несколько лет. Один, без ансамбля.

Вдруг звонят в дверь.

Подхожу к дверям и: «Кто?» — спрашиваю.

— Вы нас не знаете, мы пришли отпраздновать с вами канун Нового года, — отвечает приятный мужской голос.

— Раз не знаю, как же я могу вас пустить? У меня тут духовные и материальные ценности. Неровен час...

— Жаль. А вот Лена Дунаевская говорила, что вы — человек компанейский.

Кто-кто? Лена Дунаевская?

Я отпер дверь. Передо мной стоял парень — широкоплечий, но низенький, метр в кепке, с широким и добродушным лицом, а за ним еще парень — повыше, и довольно смазливая девушка.

— Проходите.

Зашли, перезнакомились. Я предложил им раздеться.

— У нас другое предложение. Эдик, — обладатель приятного голоса показал на парня повыше себя, — играет на саксофоне в джазе при гостинице «Ленинград». Там мы и музыку послушаем, и угостят нас прилично!

— Поехали.

Через полчаса мы сидели на отгороженных занавесью скамейках знаменитого в те годы амфитеатра, украшен-

ного по-новогоднему золотым «дождем» и мигающими разноцветными лампами, пили и разговаривали. Музыканты наяривали популярные мелодии, но вопреки мнению одного знакомого рокмена, который прославился также крутыми детективами и потрясающими прыжками в длину, услышать друг друга было можно. Я даже успел закадрить уже упомянутую смазливую девушку, которая оказалась солисткой ансамбля.

За приятной беседой и плотной выпивкой время летит незаметно.

Когда мы, в сильном подпитии, вывернули в раздевалку за верхней одеждой, я заметил только что разоблачившихся двух молодых арабов.

— Братья! — закричал я. — Мы с вами семиты! Не то, что эти!

И обвел перстом указующим небольшую толпу в гардеробе, не набившую мне морду, я думаю, только лишь потому, что все были заняты околачиванием пушистого снега с ботинок, шапок и шуб. А потом полез целоваться к юноше, более из двоих прыщеватому.

Тот отреагировал своеобразно. Он достал из нагрудного кармана пачку «Мальборо» — редкий, по тому времени, дефицит — и протянул мне.

— Это — для вашей девушки, — сказал он на ломаном русском.

Не успел я принять подношение, как меня оттащили собутыльники, чтоб не мешал пришедшему отдохнуть человеку.

Вот такая вот вышла феерическая история. Я предал всех, кого люблю, ради того, кому надлежало, если по-честному, быть моим заклятым врагом. И не лезьте ко мне с национальным вопросом.

# Учитель и его палка

— Колись, *что* есть Будда! — напряг я Учителя.

— Семь циней хлопка! — ответил упертый старик, взвешивая в руке тяжелый бамбуковый дрын.

— А может быть, восемь или шесть? — спросил я, вжимая голову в плечи.

— А может, ты хочешь опять получить по башке? — ответил он вопросом на вопрос.

«Что-то стал сдавать наш старик. Верно, дряхле...»

Мне не удалось завершить начатую мысль. Поверженный тяжелым ударом на землю, я созерцал чистое бездонное небо. Меня почему-то тошнило от его беспредельной голубизны.

— Дерется! — подумалось мне. — А раз так — с ним все в порядке!

## Автостоп 1970 года

Последние дни археологической экспедиции в Херсонесе прошли для меня в пьяном безобразии. Как назло, неподалеку от нашей с Юрой Ефимовым палатки поселилась толстая черноволосая девушка, Таня Т., одна из многочисленных отпрысков известного советского писателя, обладавшего, к тому же, графским достоинством.

Несладко же ей пришлось. Все остальные участники экспедиции и сами-то бухали потихоньку в своих палатках, а потом тихо отрубались, не обращая внимания на непотребные звуки, как то: выкрики, пение и, говоря откровенно, еще более естественные проявления молодых организмов, доносившиеся из нашей.

Гордая, непривычная к безобразиям жизни, Таня Т. пробовала призвать нас к порядку, чем еще больше раззадоривала, в соответствии с логикой подвыпивших, отнюдь не дворянского воспитания типов.

— Графиня, а не испить ли нам кофею? — кричали мы сквозь нетолстый брезент палатки и заливались дурашливым смехом в ответ на ее возмущенные замечания.

И вот я уезжаю. Не домой, а в Киев, где ждала меня любимая девушка. С утра надо было сесть в автобус, ведущий до аэропорта. Я собрал рюкзак и полез в кармашек палатки за авиабилетом, но его там не оказалось. Окончательно и навсегда.

Страшная догадка пронзила мой воспаленный

от трехдневного пьянства мозг. Неужели пропаша билета — акт мести? Но я и в мыслях запретил себе подозревать высококравственное, судя по ламентациям в наш адрес, к тому же титулованное лицо.

В кармане — три рубля. За спиной — рюкзак. Впереди — далекий-далекий Киев.

Оглянувшись на Черное море, многошумно катившее волны с барашками в мою сторону, я мысленно произнес: «Прощай, талатта!» — и пошел мимо беленых домиков с палисадниками и курами, мимо тенистой площадки, высланной плитами, окруженной старинными зданиями инкерманского камня, принадлежащими бывшему монастырю, стены которых, бурые, обветренные, были украшены изумрудными инкрустациями гекконов, гревшихся на утреннем солнышке, мимо фонтана с золотыми рыбками на пыльную степную остановку автобуса.

Попробовал сунуться в аэропорт и поговорить с администратором, ссылаясь на то, что покупая билет, я предъявил паспорт, и это можно проверить (дело было уже в Симферополе), но меня, в связи с царящей здесь легкой паникой, отослали куда подалее.

— Ах так! — обиделся я и зайцем залез в переполненный ночной поезд, шедший до Джанкоя.

Когда я к утру сверзился с третьей полки, где укрывался от проводников, то обнаружил, что публика, едущая по своим делам в город Джанкой, довольно таки свойская, рабоче-крестьянская. Когда я спросил не спящих, как добраться до Киева, мне стали охотно объяснять, как ехать, кто во что горазд. Наконец кто-то вытащил карту автомобильных дорог, из которой следовало, что переть мне через Александрию, Полтаву, Белую Церковь. Приблизительно

— так, точнее — не помню.

Оказалось-то, в общем — через густонаселенную глухомань, где не было настоящего шоссе, а все больше — дороги местного значения.

Трое суток добирался я до своей цели, где — на бортовых машинах с колхозницами-украинками, неимоверно разросшимися, огромными, похожими на великаншу из стихотворения Аполлинера; где — на легковушках, забитых гарбузами, среди которых приходилось отыскивать местечко для собственного тела и рюкзака; однажды — на рейсовом автобусе.

Деньги на билет дал мне парень, жена которого на семейной машине укатила среди дороги с каким-то мужиком, а мой доброхот пробирался к мамаше в Черкасы, куда настоятельно звал и меня.

На одной остановке я понял причину легкой паники в симферопольском аэропорту. В автобус вошла женщина в белом медицинском халате и стала спрашивать, нет ли кого из Крыма и других ближайших югов. Я догадался не признаваться и только тут из разговоров узнал, что на юге появилась холера.

В Белую Церковь подвез меня летчик на мотоцикле «Ява», лучшем тогда на российских дорогах. Страху я натерпелся ужасного, потому что он сразу ударил по газам — я ни рюкзака не снял, ни ногами не уперся в откидные стремена, о существовании которых даже не подозревал. Несущаяся на меня голубая асфальтовая смерть — главное впечатление от всей той трехдневной дороги. Впрочем, Украина с ее пирамидальными тополями, фарфоровыми мазанками и добрыми красивыми жителями врезалась мне в душу навсегда.

Добравшись поутру до Белой Церкви, я сразу наткнулся на заправочную станцию. Там стояли два пустых грузовика с прицепами.

Я подошел к шоферам, спросил, не до Киева ли.

— Забирайся, хлопче, на борт. Только ложись, не высывайся, а то — ГАИ...

Через часика три я стоял уже с тыльной стороны Бессарабского рынка, круглого здания, выполненного в стиле «модерн», перед самой той маленькой площадью, где поэт Осип Манделъштам и его жена Надя созерцали с балкона гостиницы кавалькаду красных чекистов во главе с личным недругом этой парочки — знаменитым Блюмкиным.

Съев за трое суток три пирожка, я еще сэкономил двушку на телефон-автомат. Отзвонился любимой, которая жила рядом, но очень высоко надо мною, в супераристократическом районе, на Карла Либкнехта.

Она вскоре сбежала по лестницам и дорожкам с небес. Я, как дурак, полез целоваться. Она отстранилась.

— Не понял! — сказал я.

Она — высокая, девственная, с широкими бедрами и в самую тютельную, чуть-чуть кривыми, но длинными ногами, что-то все мялась, разглядывая свои туфли-лодочки на высоком каблуке, каких, вообще, не носила.

— Так ты холеры боишься? — осенило меня.

Она ничего не ответила, взяла меня под руку и отвела домой — мыться, чистить на балконе одежду, приводить себя в порядок. Ее родственники приняли меня хорошо.

Мы потом поженились. А потом — развелись.

## Игры молодецкие — пляски половецкие

В ранние годы арт-центра «Борей» там было уютное помещение, которое называлось «диванная». Здесь собирались сотрудники и активисты «Борея», «разрулить» какое-нибудь важное дельце, пообщаться, а если будет на то соизволение хозяев, то и выпить малехо.

Павел Крусанов, мой друг, был по младости лет во хмелю агрессивен. Что не мешало нам частенько вместе закладывать. «Диванная» стала для нас желанным оазисом, где могли мы поддать в культурной, так сказать, обстановке.

И вот мы, уже «вдетые», приходим в «Борей», нас еще угощают, и Павел, будто зомбированный, на меня тотчас кидается.

Тут мы с ним падаем на пол и, расшвыривая диваны и кресла, начинаем сражаться. Без крови, конечно, чуть-чуть понарошку.

Когда нас подняли, развели по углам и отряхнули, ко мне подошла Зина Драгомощенко и возмущенно сказала:

— И не стыдно вам, пожилому человеку, заниматься такими делами, позориться?

Что я ей мог ответить? Что он первый начал? Несolidно как-то, по-детски.

На следующий день в молодежной газете «Смена» появилась заметка под рубрикой «разное», в которой рассказывалось, что известный прозаик Павел Крусанов в арт-центре «Борей» подрался со своим собратом по перу.

С годами Павел и вправду прославился, его цитировали Зюганов и Хакамада, а девчонки так просто носили на руках.

Меня известные политики не цитировали, а девчонки... об этом лучше умолчу. Впрочем, моим рассказам молодежная газета «Смена» посвятила-таки подвал на двух полосах.

Но *собрата по перу* я Голынке-Вольфсону, автору той забытой заметки, никогда не прощу.

# Наш человек

Жил в городе один знаменитый в определенных кругах человек. Еще с начала шестидесятых был он известен как великий колдун; я лично знал некоего несчастного юношу, который задвинулся на Лисунове и ждал от него ужасных в свой адрес нематериальных злодейств.

«Йог и маг», — как он сам себя называл, таким образом подбривал брови, что они были изломаны на подобие стилизованной молнии на старинных электроприборах. Узкое бледное лицо, горящие глаза, прищелкивание и шепелявость в его речи, демонически-истерический смех дополняли впечатление.

Когда мы с ним познакомились, он носил еще и несоразмерно огромную каракулевую папаху, длинное пальто, запах которого являл бархатный костюм и иссиня-белую рубаху.

Иногда мы с ним сталкивались, почему-то в Шведском переулке.

Я с важным видом жал его тонкие костистые пальцы.

— Здорово!

— Здорово! Дела идут?

— О'кей!

— Ну, дерЛзай! Щ-щ-щастливо!

И мы, раскланявшись, расходились.

Со временем выяснилось, что он живет недалеко от меня, в Веселом поселке, дойти можно было пешком. Я несколько раз посещал его — стены квартир

были сплошь завешаны живописью хозяина, который к тому времени сделался небезызвестным художником.

Он поил меня чаем, рассказывал о былых подвигах, о которых умолчу, был любезен и добродушен. Лишь иногда подпускал психологические зацепки, с легкостью мною отбиваемые.

Однажды, к своему великому огорчению, я узнал, что он был зарезан неизвестными (или неизвестным) у себя дома. Говорят, у него на теле насчитали более десятка ножевых ран.

Так город лишился весьма заметного персонажа.

Поневоле вспоминается легенда о докторе Фаусте (не Гетевский гроссбух, а материалы, собранные академиком Жирмунским и изданные в серии Памятников).

Так некоторые странные ситуации перескакивают из поколения в поколение, и даже шуточное, полупародийное заигрывание с темными силами даром для человека не проходит.

Впрочем, кто я такой, чтоб судить о подобных вещах с полной определенностью?

## Другое дело

Другое дело — история с театральным режиссером Б. Я считал его большим конформистом, о чем как-то напрямую и заявил. Ирония насчет пьянства, чрезмерная аккуратность в его костюме и поведении бесили меня. В Ленинграде у него дела не сложились, и он подвизался в провинции.

Однажды ему повезло: он заработал спектаклем в Питере приличные деньги.

Потом был схвачен у себя на квартире какою-то бандой, пытан с целью извлечения барыша и зарезан.

Жена его позвонила хорошему артисту, Коле Лаврову, с просьбой заглянуть к ним домой и узнать, почему он на даче не появляется.

Коля пришел, увидел замученного Б., милиционеров и проч., проч.

Вернулся домой и от огорчения умер.

Так погибли два талантливых человека.

И — никакой мистики, кроме той, которую мы всечасно окружены и которая чревата ох какими неожиданными последствиями.

Что же тут скажешь...

## Деревушка. Особняк

На избы в этой полупустой псковской деревне многие целились: она расположена на берегу большого озера Велье, где и купанье, и рыбалка, и виды. Стоит она у изножья холма, на котором, если выйти за околицу, можно даже в засуху брать маслята в хорошем количестве.

Дело в том, что испарения от озера поутру кладут на лесистый склон большую росу — достаточную, чтобы и без дождей холить грибницы. Мы с женой, как ни странно, принадлежали к немногим, кто знал этот секрет, и активно им пользовались. Как-то уже Наверху, в лесу, встретили старуху с пустой корзиной.

— Вот вышла, — говорила она, — грибов посмотреть — внучок просит.

— Да, грибов мало, — отвечали мы ей. — Вот, всего и собрали!

И приподняли листья папоротника, прикрывавшие наш урожай.

— Чего же вам еще надо? — то ли возмутилась, то ли удивилась старуха. — Шишку с елушки?

Однажды мы пришли в Лямоны осмотреть продававшийся дом. Изба оказалась крепкой, хорошей, но хозяева были в отъезде. Рябая соседка ничего вразумительного нам не рассказала, в дом не пустила, якобы, у нее не было ключа, и вообще смотрела на нас, почему-то поджав губы. Так мы толку и не добились. А жаль. По сравнению с нашей старушечьей мурьей в деревне Букино изба была — просто особняк.

Правда, двор зарос полынью и иван-чаем.

Я думаю, название деревни происходит от имени одного из первых хозяев, скорее всего француза, Ле-Монта на русской службе. Не от лимона же, право-слово!

В двадцатых годах девятнадцатого века здесь встречались два друга-лицеиста, Пушкин и будущий канцлер Российской Империи Горчаков, в гостях у Опочецкого предводителя дворянства Пещурова, которому и принадлежала заманчивая деревня.

# Ночной дозор

(радиоречь)

Сегодня я держу речь перед вами, дорогие любители проводного Петербургского радио, с особенным чувством. О, я знаю свою аудиторию! Мне отлично известно, кто сейчас, в одиннадцатом часу зимней ночи, внимает моему голосу. Это — дежурные лифтовые механики на Троицком поле, аварийные диспетчеры на Пороховых, сторожа Малой Тентелевки. И, конечно же, бесчисленные операторы газовых котелен в Гавани и Новой Деревне, в Коломне и на Песках, в изысканном Соляном городке.

О газовых кочегарах и пойдет речь. Далекие миру, как космонавты, и так же, как и они, обязанные жизнью бесперебойной работе несовершенных — жужжащих, сипящих и булькающих механизмов, они стойко несут свой ночной дозор. И дело не в должностной инструкции — изрядно подчас нарушаемой. Дело в том, что каждый из этих состоящих при ночи мужчин и женщин есть оригинальный образчик породы человеческой, ибо для того, чтобы спуститься сюда, в полуподвал кочегарки, надо уйти с дистанции тараканьих бегов — наплевав на служебную или общественную карьеру. Бодро встать у смотрового глазка.

Во всяком случае, подобный выбор сделала в свое время львиная доля моего поколения, целым прайдом ушедшая в пыльный и распаренный вельд кочегарского дела. «На волю, в пампасы!» — как говари-

вал один литературный герой.

Уходили в котельные не просто так. Уходили для того, чтобы иметь время и место для свободно-го творчества — будь то литературное, живописное, философское или даже коммерческое — среди нашего брата коচেгага страшно много было в советские годы экономических диссидентов.

Втиснуться в жизнь между перепиткой и упуском. То пусто водоуказательное стекло, то переполнено — не всегда отличишь. Не понимаю, каким шестым чувством мои братья-кочегагы угадывали, когда в стекле воды под завязку, а когда — сухое оно. Вот где пространство для вольной мистики! Вот где фантазии разгуляться!

Представьте: торчишь себе в одинокой бытовке, словно адепт учения дзен, и ощущаешь в душе — просветление. А окружающая тебя звуковая материя — отнюдь не пуста... То топоток какой-то раздастся, словно по кафельному полу прошлепали мыши в лапах, то сам собою включится в допотопном приемнике Борис Парамонов и расскажет что-то неординарное о русской идее. То заглянет на огонек какой-нибудь подгулявший профессор истории, который за день не наговорился, и поведаст о мистериях и таинствах советской цензуры. И ты, оторвавшись от процесса бурления и горения, бежишь в ближайший лабаз за огненную водой.

А если вдруг, во время жаркой беседы, заявится кто-нибудь из грозной администрации, прячешь профессора в тесном помещении душа, и он, бедолага, отсиживается на мокром жестяном табурете, боясь шелохнуться.

Кто только не побывает в гостях у тебя! И лидер московских хиппи, сбежавший из дурдома и при-

ехавший из Москвы на попутках, и настроено засекреченный математик, изобретающий непредставимое, сверхдейственное оружие, и крутой мафиози, добродушный и благостный, как Дед Мороз. Всех привлекает то светлое умиление, которое можно испытать в одинокой кочегарской бытовке.

Этому странному чувству, сходному с японским состоянием сатори, способствует окружающая обстановка. Ведь икебану с успехом может заменить глиняный горшочек с алоэ, стоящий на бледной кузнецовской тарелочке в нише зарешеченного окна. Традиционный свиток с пейзажем легко замещает простое, вязанное крючком макраме, прикрывающее экран старого телевизора, а бамбуковый черпак для чайной церемонии — алюминиевая кружка. И тихое счастье сочится в бытовку вместе с синей ночной темнотой.

Конечно же, те, перед кем я держу свою речь, прекрасно обо всем осведомлены. Поставив цилиндрический медный чайник, которому настоящее место — у антиквара, на желтые шамотные кирпичи, кипятят запальником воду. Осветивши карманным зеркальцем табло газового счетчика, считывают показатели расхода газа. Устав от набитых шишек, напяливают на шток задвижки обрезок резинового шланга. Проснувшись глубокой ночью, с ужасом вслушиваются в зловещую тишину ставшего сетевого насоса, чреватую немедленным взрывом. Запихивают в надоевшие своим жужжанием пропорционеры деревянные клинышки. В общем — не дети в кочегарской профессии.

Но мне кажется, те, кто сейчас работает по котельным, и те, кто оставил эту замечательную про-

фессию для того, чтобы стать митьками, поэтами, беллетристами, бизнесменами и политиками, — составляют единое братство людей, которым не понаслышке известно, что такое — ночной дозор.

Имен специально не называю — они и так у всех на слуху.

# Зарницы и колбаса

Кажется, в 1954 году отец повез нас отдыхать на голодную Украину, в местечко Винницкой области под названием Бершадь. Очередь в магазин за хлебом там была постоянная — пока привезут.

Вспоминаются большие подсолнухи, роща древо-видной акации, под которой ничего не росло, раскидистое лиственное дерево, именуемое «граб». Так и называлось, не «гроб», а «граб».

Голодно не было. Я пас жирную хозяйскую свиноматку, которая с удовольствием кормилась желтоватой рыской в неглубоком болоте.

На сеновале мы вместе с хозяйскими ребятами активно и коллективно занимались онанизмом, ногами созерцали сквозь лаз крупные дрожачие звезды, а еще зарницы, поражавшие своей тишиной, отсутствием грома.

К августу пришла пора Машку-свиноматку зарезать, и я, спрятавшись в густой кроне вишни, слышал заполошные, почти ритуальные стенанья хозяйки да истошный визг погибающего животного. Потом огромную тушу свиньи палили на соломе, и хозяйские ребята с удовольствием грызли обуглившиеся хвостик и уши, даже мне дали попробовать. А потом был пир — жареная печенка, кровяная колбаса и другие наедки.

Жили в Бершади и несколько еврейских семейств — жили неаккуратно, по-местечковому, выплескивая помои прямо на улицу перед мазанками.

Мне запомнился мальчик Арончик — тонкокостный, красивый, с темными, до щек, кругами под глазами и матовой, как ватман, белой кожей. Про него шептались, что он — отличник и, окончив школу, будет поступать в институт.

А один курчавый, рыжий, немолодой мужик рассказывал мне, что местечко до войны было на две трети заселено евреями, но почти всех убил немец — осталось, невесть уже какими судьбами, лишь несколько семей. Вот и не верь после этого в Холокост.

Еще стояли на перекрестках высокие кресты из старых, обветренных и задубелых от ветра жердин; еще увидел я правильную похоронную процессию на дороге: впереди — поп в пестром облачении, не то — с иконой, не то — с хоругвью в руках — уже забылось; сзади — плакальщицы, выпевавшие что-то настолько неестественное, скорбное и громкое, что у меня сердце упало, потом — гроб на телеге, а уж потом — провожающие.

Право слово, есть в украинской природе что-то тленно-живучее, смертельно-кипучее, что-то, в чем жизнь и смерть закрутились, как инь и янь в знаменитом китайском знаке.

У Мартина Бубера в книжке «Хасидские сказания» я прочел отрывок о цадице из селения Бершад. Комментатор сообщает, что точное написание топонима неизвестно. Так вот, удостоверяю: это — оскудевшая евреями Бершадь. Она была когда-то одним из светочей хасидского мира, мощным узлом еврейской святости и учености. Как и Чернобыль, например. В него-то вы верите?

# Фиоритура осенняя

По утрам на крышах домов, что по набережной Мойки, выпадала роса и стояла у водостоков на сухом, светло-сером, освещенном солнцем асфальте, словно утренняя слюна на холщовой подушке.

Я шел на Малую Садовую, в кулинарию, выпить двойного кофе, который вместе с сахаром стоил тогда восемь копеек.

Уже около одиннадцати я рассчитывал встретить кого-нибудь из празднующихся: козлоногого Хейфа, Шейдина или Попова.

Там стоял чуть ли не первый в городе аппарат, варивший кофе «эспрессо» — исходящий паром, как люмьеровский поезд, и не менее одного сенсационный. Выпив кофе и не встретив никого из знакомых, я шел в «собачий садик» у Зимнего стадиона, садился на скамейку где-нибудь у заросшей бурым, пожухлым диким виноградом стены и закуривал. Светлый дым на фоне прозрачного осеннего воздуха змеился особенно витиевато и остро.

На сей раз на скамейке сидел совсем молодой парень, которого я уже видел на Малой. Мы представились друг другу. Паренька звали Сашей.

Его молодое лицо, казалось, еще не знавшее бритвы, слегка прикрытое капюшоном ветровки, было невинное, чистое. И разговаривал он пока что без выебонов, столь свойственных малосадовскому контингенту. Он только что вышел из вытрезвителя и, естественно, мучился жаждой.

Кое-как мы насобирали на бутыль бормотухи и выпили-поговорили. Он оказался отнюдь не глупым человеком, неплохо разбиравшимся в религиозных вопросах, и мы с ним посидели отлично. Он даже предложил иллюстрировать мою повесть. И все это так, из чистого интереса — в те годы нас к типографскому станку и на пушечный выстрел не подпускали.

Потом наш садик стал наполняться, и мы с Сашей Исачевым разошлись по своим компаниям. Болтался я по центру до самой ночи, пока не оказался один на Орбите — асфальтовой дорожке, огибавшей сквер на площади Искусств. Было темно, разве что у фонарей разместились размытые пятна света, да лампы Театра оперетты и Малого оперного горели сильным огнем.

Дунул ветер, и со старых дубов по периметру сквера на асфальт со стуком посыпались спелые желуди. Их было так много, и падали они столь долго, что я даже обозначил это редкое природное явление специальным термином — «желудепад».

Через много лет, в пассажирском вагоне, я прочел в газете «Правда» о том, что художник Александр Исачев погиб в некоем белорусском селении. Раннеперестроечная заметка была полна вранья и умолчаний: там не говорилось о том, что он отравился каким-то алкогольным суррогатом, зато утверждалось, вопреки очевидности, что в Ленинграде он не нашел ни ценителей, ни поддержки.

А как же наше любовное сидение за бутылкой «Молдавского»? А как же застолье, происходившее у меня дома, где его кормили, поили и выслушивали с полным вниманием? Все было тип-топ, Павел Крусанов не даст соврать.

# Несбывшееся знакомство

Всю жизнь вращался я вокруг Иосифа Бродского, со многими его знакомыми перезнакомился, а его, можно сказать, и не видел. Вернее, вроде бы видел, а вот лицезреть не пришлось.

Как так может быть? А вот как.

Меня пригласил на свой вечер в мавританский кабинет дворца Шереметевых замечательный поэт — Леонид Аронзон. Ну, прочитал он свои стихи, и тотчас же, по наивному порядку тех лет, началось обсуждение. Его стихи обругали — опять же, в соответствии с заведенным порядком. Вот как меня в том же кабинете обругал Серега Довлатов: мол, по словам эстрадника Блехмана, такое (как мой «Корабль дураков») может сделать каждый еврей, но многие стесняются... Думаю, не прав был светский лев, в качестве которого, в основном, фигурировал в те годы Сергей, ну, да не мне судить.

Страстно отстаивала стихи Аронзона его жена — да с жены какой спрос? Среди выступавших заметил я рыхловатого рыжеватого еврея с намечающейся лысинкой, в потертом костюме. Меня, в основном, заинтересовала его странная манера говорить на публике: он как бы пел или скандировал жутко ненатуральным голосом, называя поэта попросту Лёня, что говорило об их коротком знакомстве.

Ну, как говорится, проехали. Где-то через год или более кто-то из знакомых мимоходом сообщил мне, что на вечере Аронзона был Бродский. Тут я стал ли-

хорадожно перебирать, кто же это среди запомнившихся мне мог оказаться сим знаменитым поэтом. И вычислил: наверное, тот, рыхловатый, с мягкими рыжими волосами! Стал вспоминать лицо, но на память пришли только известные фотографии, одна из которых стоит у меня в книжном шкафу много лет. Стоит и сейчас. А так всплывало в памяти что-то размытое, мягкое, мутное...

Так я Бродского по-настоящему и не увидел. Потому что увидеть можно, только если сконцентрируешь на объекте внимание. А это мне и в голову не приходило. Да окажись на Лёнином чтении хоть генералиссимус Сталин, и его б не узнал, несмотря на шинель и лампасы. Подумал бы: «Вот, и военный затесался!»

Временами мучает меня этот мутный блин, все порывается проявиться... Но — никогда не проявляется.

Эх, не встречался я с великим поэтом. А мог бы!

# Сам себе Петербург

Петербургец и Петербург... Это — тема рефлектирующего сознания. Тема самокопания и самооценки, тема отказа от всеобщего ради частного и себе соразмерного. Маленькая трагедия самостояния. Наиболее петербургские вещи написаны несколько сдвинутыми по фазе молодыми москвичами или провинциалами. Вспомним Гоголя, Достоевского, Белого. Петербург — это слишком грандиозно и страшно, и по своей болотной природе болезнетворно. Хочется эту огромность как-то в душе ограничить и локализовать, загнать в клетку, пусть даже собственную грудную.

Чаще всего вышеуказанная потребность решается чувствительным молодым человеком через тему двойничества. Однажды прохожий, повернув с Монетной на Певческий, сталкивается нос к носу с собою самим. И со встречным знакомится.

Познакомившись, он узнает, что случайно набрел на того, кто хочет заместить его, вытеснить из реальности, отобрать невесту и службу. Хорошо еще, если, издевательски протянув три пальца, не представится: «Питер». Потому что является не только лишь твоим двойником, но и агентом того, кто по известной пословице, «бока повытер» залетному соискателю благ.

Как опознаются интриги ужасного двойника? Например, через чтение чужих писем. В «Записках сумасшедшего» Гоголя мнимые ковы содержатся в

переписке собачек. В «Двойнике» Достоевского так же фигурирует некое роковое, непонятно реальное ли, письмо.

Нет, не реальное. Эти письма — фантомы, возникающие как отражение скрытых комплексов персонажа на экране его замороченного страхом сознания.

Встретить в городе двойника — не такая уж редкость. Здесь все двоятся: изломанные шпили в отражениях вод; пропилен Смольного института; памятник основателю города, в одном случае прикидываемому итальянским кондотьером, а в другом — межгалактической ракетой на топливе из змеиного яда.

Вспомним, что двоятся и старушки-голландки из «Черной курицы» — тихие, гладкие, зловещие и совершенно идентичные, как патроны в обойме.

Удивительная вещь — сказка «Черная курица». Нравоучительная и волшебная, насквозь проникнутая бытовым, прозябательным духом — и написанная родовитым вельможей для своего то ли племянника, то ли сына — документы двусмысленно недоговаривают, а легенда — кто ж ей поверит?

Талантливый выкормыш, подросток, времени не теряет и, получив драгоценную игровую прививку от петербургской рефлексии, поупражнявшись в младенческой прозе с упырями и вурдалаками, пишет больше все о Москве — о ее династических трагедиях, об Иоанне Грозном. Он стал — сам себе — Москва. Полноценная участь, хоть и умер бездетным.

Ну, а если тебя все же обратало чудовище, скажем, Тень из пьесы Евгения Шварца, низвело почти до нуля — теплись на огарке. Чем, например, не занятие — коллекционировать экслибрисы? Ходить по

выставкам, складывать в найденную на капремонте и очищенную от налипшей картофельной шелухи твердую картонную папку небольшие листочки, любоваться ими исподтишка? Завести на дверях специальный глазок и на каждый звонок подкрадываться на носках, осторожно заглядывать — не пришел ли грабитель. И легко умереть от разрыва сердца, увидев сквозь дырку того, кого ждать и не смел — себя самого.

Как ни крутись — социальная пирамида города громоздится помимо бедного индивидуума, склонного к рефлексии, и какой ты ни разесть поэт Мандельштам, а Гиппиус с Мережковским в свой модный салон тебя не запустят, и признанный стихотворец с фамилией, словно выдернутой из прустовской эпопеи, глянет в твои глаза с мертвящей иронией.

Оборзев от такого к себе отношения, ты, опасный, как гюрза, маргинал, захочешь свергнуть этот обидный для подселенца порядок. И станешь господином Липпанченко, агентом-двойником, оперирующим такими понятиями, как «коробка-сардинница», пресловутый «пепп пеппович пепп», и взорвешь министра внутренних дел Плеве.

Но на место упавшей поставят другую мишень, покруче. И хоть по разным целям стреляли стихотворцы Князев и Канегисер, попадали непременно в себя.

Это печально, но как ни переиначивай на питерских пажитях «шишнарфнэ» — получишь, как максимум, «енфраншиш».

**ЕНФРАНШИШ!**

Хочется сказать о единственном человеке, тертом лагернике и воине, который победил в этой нелегкой игре — о Данииле Андрееве. Он воздвиг в своем во-

ображении подземный, перевернутый мета-полис, устремленный шпилем Петропавловского собора прямо к центру земли. Самыми тихими и темными ночами кое-кого из нас тревожит глухое звучание и бурление его зева. Так может звучать и бурлить отнюдь не двойник петербургского обитанта, а гигантский фантастический мета-город, слиянная глыба которого не по тембру чьему бы ни было дребезжащему двойнику.

Он есть — сам себе Петербург, хотя бы и в сотворенном гениальным визионером пространстве.

# Слоновая кость и немного стали

Хорошо, что я никогда не писал воспоминаний о детстве! Автор увлекается, сообщает читателю о самом заветном и сокровенном, а получается — типово. Ну что тут скажешь?

Однако одну историйку, не претендуя на оригинальность, все-таки расскажу.

Я учился в одном (тогда — шестом) классе с сыном моей районной врачихи — Юрием. Болел я часто, а Юрину мать просто полюбил. Она была очень заботливой и обаятельной женщиной.

В то время, к которому относится мой рассказ, ее уже не было в живых — так безвременно рано!..

А с Юркой мы подружились, гуляли в парке Ленина и на набережной со львами Ши-Цза, и говорили о таких сложных материях, в которых сейчас, наверное, и не разобраться, ей-богу!

Однажды нас послали делать стенгазету к отличнице по имени Надя. Семья ее была особенная, выдающаяся. Во-первых, Надин брат окончил нашу школу с золотой медалью. Во-вторых, они жили в *отдельной* квартире, что было в те годы большой редкостью и знаком отличия. Мы, почти все, ютились по коммуналкам.

Надя жила на моей же Малой Посадской в соседнем доме. Я был в нее влюблен.

Запасшись листом ватмана и акварельными красками, мы с Юрой в условленное время были у нее. Ее видная во всех отношениях мама открыла нам дверь

и приказала снять обувь — полы в квартире были до зеркального блеска навощены. Дырки на наших пятках располагались ассиметрично, у меня на левой, у него на правой. Несколько смущенные, (ну, да чего уж там!) мы робко вошли в гостиную.

Старинный ореховый стол был уже подготовлен для работы: раздвинут и накрыт клеенкой. На стене висела картина в широком золоченом багете, изображающая полубогаженную женщину в заманчивых кисеях; у окна стоял письменный стол с бронзовыми канделябрами, украшенными хрустальными подвесками и письменным прибором из яшмы, увенчанным граненым хрустальным кубом чернильницы, в которой играл свет только что зажженного уличного фонаря.

В комнату вошел отец девочки, щуплый Исаак Арнольдович в круглых очках.

— Надя ушла в магазин, — сказал он, улыбаясь. — Не хотите пока посмотреть мою филуменическую коллекцию?

В сказанном им непонятном слове нам послышалось нечто неприличное, и мы хмыкнули, не сговариваясь.

Надин отец заулыбался еще ярче и достал с полки книжного шкафа огромный альбом в бархатном переплете. Там содержались во тьме, пока их не явят миру, шикарные этикетки от спичечных коробок.

Что это была за коллекция! Серебро ислама и тонкая тушь синтоизма, торжество православия и красный кирпич коммунистического труда, желтые реки Китая и тропические птицы Принцевых островов — все это содержалось в заветной коллекции.

Вскоре пришла Надя, и я, густо покраснев, стараясь укрыть торчащую пятку под столом, принялся за

работу. Как и остальные, впрочем.

Невесть как рядом со мною оказался шикарный разрезательный нож из слоновой кости, я взял его, чтоб рассмотреть, и он рассыпался прямо в руках.

У меня сердце упало. Я долго стоял над ним, не зная, что делать, ведь я не ломал его, нет! Ручка отвалилась сама!

Преодолев накотивший страх, я все-таки признался Надиному отцу, который, кстати, оказался в этой же комнате и читал газету за письменным столом, в том, что произошло. Он заулыбался уже невозможно широко, забрал нож и унес.

Не помню, как мы доделали стенгазету и отвалили из этого шикарного дома. Помню только, что обнаженная женщина, нежащаяся в своей ничего не скрывающей кисее, загадочно улыбнулась мне сквозь щель, оставленную неплотно притворенной дверью в гостиную.

На следующий день в нашей дыре, в нашей сырой коммуналке раздалось несколько резких звонков. Мать была рядом, на кухне, и пошла открывать. Я, по жлобской привычке тех лет, высунул голову из наших дверей.

В прихожей стояла мать Нади во всем величии своей осанистой корпуленции!

— Ваш сын сломал принадлежащую нам антикварную вещь! — выпалила она тоном, достойным торговли откуда-нибудь с Подола или Пэрэсыпи. — Извольте починить или заменить!

«Заменить! — ужаснулся я. — Да на это и всей бабкиной зарплаты не хватит!»

Отец пришел вечером с работы и сам починил сломанный антиквариат. Руки у него как надо привешены!

«Еще платить этим куркулям!» — возмутился он.

Через пару недель Юрка признался, что нож сломал он. «Взял посмотреть, чуть согнул и — крак! Ну что делать? Я со страху тебе его и подкинул!»

Засранец.

Мы с ним не раздружились, я простил ему предательство. Он потом сделал большую ученую карьеру; много лет работал профессором университетского матмеха, а сейчас во Франции преподает. Давно не звонил, очень давно. Лет десять.

Я кончаю опус об эпизоде из отрочества за своим нешикарным столом, украшенным чернильницей с каменной подставкой, увенчанной стеклянным граненым кубом, в наборе с двумя медными подсвечниками. На столе лежит костяной нож для разрезания бумаги, оставленный мне теткой, уехавшей в Америку. Впрочем, он не весь из слоновой кости. Рукоятка его была повреждена, половина отвалилась и, на счастье, у меня оказался знакомый, Володя, замечательный косторез, который вырезал недостающий фрагмент из кости мамонтовой.

Он плохо кончил, добрейший и тишайший Володя. Сойдя с ума, он при маленькой дочери и жене шесть раз воткнул в себя нож, но уже не костяной, а стальной и острейший.

Так что история с костяным ножом — просто семечки.

# Ответ

— Талибы в афганских горах уничтожили двух циклопических Будд и тотчас же были свергнуты. Смысл? — спросил я Учителя.

Учитель сунул свою палку под мышку, поднес руки к моему уху и так хлопнул в ладоши, что у меня аж в голове помутилось.

# Рыцарь веселого образа

Впервые я увидел его на первомайской демонстрации. Он пришел с очаровательной молодой женой; был совершенно не похож на еврея, скорей — на гасконца. Крепкий такой, феодальный нос, пшеничные усы, бодрые пронизательные глаза. Он уже тогда был эрмитажной легендой; так и останется.

Леня Тарасюк родился, естественно, в Гуляй-Поле. Где же еще было ему родиться, как не в одной из столиц бесшабашного украинского рыцарства? Где он учился — не знаю, работал — в эрмитажном Арсенале. Научно занимаясь оружием, вел детский кружок по своей специальности. Попутно учил детей фехтовать. На двери отведенного ему помещения красовалась от руки выведенная надпись:

*Здесь работает ваш друг  
Д'Артаньян де Тарасюк*

Очень любил своего кота, которого ненавидели и извели соседи. Он подал на них в суд, выиграл процесс и устроил по коту шикарные поминки, на которые пригласил полэрмитажа.

К сожалению, это судебное заседание оказалась для него не последним. Ведь любовь вообще, и любовь к оружию в частности, не может делиться на официальную и неофициальную. Где-то раздобыл сломанный казацкий револьвер, очистил его, починил и стал им владеть. На него донесли свои, эрми-

тажные — кто-то из зловещих старух, «проваренных в чистках, как соль», которых в послевоенные годы очень много было в музее.

Сел, потом вышел, его взяли для начала в хозчасть, к Ольге Николаевне Богдановой, всеобщей матери-благодетельнице. Талант всегда пробьет себе дорогу, так что в мои годы он работал начальником Арсенала, где однажды побывал и я, но уже не при Тарасюке: резал парадным испанским кинжалом XVI века ветчинно-рубленую колбасу, бил себя в грудь, облаченную в кирасу с золотой насечкой, однако «Московскую» пил из русского стакана, граненого.

Потом он уехал на Запад, работал в музее, кажется, Гуггенхайма. Альбомы выпускал — пальчики оближешь!

Кости сложил, как и положено гасконцу, во Франции — мчась по скоростной магистрали, врезался на всем скаку в чужую машину и всмятку разбился вместе с женой.

В тихом Директорском коридоре Эрмитажа, рядом с милицейским постом, вывесили их семейный портрет в траурной рамке, хотя Леня давно уже в данном учреждении не числился...

## Советы на февраль для культурно пьющего человека

Если с вечера высокие зеркальные окна зашторены нетвердой рукой, то поутру сквозь щель между ними возносится льдисто-синий остроугольный клинок — будто меч полированной стали, посверкивающий вдоль обоюдоострого лезвия аквамариновыми искрами.

Догадка не обманула тебя — когда распахнешь, то увидишь над простором Невы занимающееся утро февральского дня. Энергетический кризис имеет и свою обиходно-живописную сторону: ледокольного типа буксир, взламывавший белую гладь в более благополучные времена, дабы не ходили горожане по льду и не подвергали свои ценные жизни опасности — более не тарахтит мимо окон, и по взрумянившись от свежего солнца покрову разбросаны черные строчки: спешат студенты наискосок, к университету; спешат разночинцы в сторону Петропавловки, на Петроградскую.

Но — пора и поправиться. В том смысле, что немного опохмелиться. Не переусердствуй — впереди белый день. Прими ровно столько, чтобы унять непрерывное тремоло тремора.

Что тут посоветуешь? Если у тебя в холодильнике имеется светлое пиво — ну, хоть «Балтика» третьего номера — или кубышка джин-тоника — выпей, приведи себя в порядок, унеси на кухню полную пепельницу и использованную посуду, да отправляйся по нужным тебе делам.

Впрочем, лучше всего дернуть стопку водки, если осталась, но ни в коем случае не подступать ко второй. Ни боже мой!

Первая тебя освежит, а вторая — разрямит. И запьешь ты, бедолага, настолько, что и мебель красного дерева, и литого серебра ведерко для шампанского, и редкостная коллекция фаянсовых блюд, развешанная на розовеющих стенах — уйдут из твоего дома и никогда не вернуться. Пропьешь.

Счастье твое, если по огромному благу устроят тебе толкового лекаря, который пошепчет над твоею забубенною головой: «Месяц ты красный, зайди в мою клеть; а в моей клетке ни дна, ни покрышки. Солнышко ты привольное, взойди на мой двор; а в моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды уймите раба Божия от вина; месяц отврати раба Божия от вина; солнышко усьмири раба Божия от вина. Слово мое крепко!»

Хорошо, если подвержена твоя буйная головушка заговорам. Может, только серебряным ведерком от-делаешься!

Поработай в нужную силу, как все трудолюбивые граждане. С тебя не убудет. Зато вечером, возвращаясь домой с морозной, гарью пахнущей улицы, ты припомнишь — морозы-то нынче сретенские! Пятнадцатого февраля — праздничный день, годовщина принесения Младенца Иисуса во храм. Сретение Господне.

Если обучен молиться — давай, помолись. Если нет — Бог попустит, научишься по времени. А пока что — задерни шторы, дабы не мешали грядущему сну фонари, сияющие на набережной, достань из морозильника бутылку «Синопской», принеси закусок холодных и горячих, и празднуй. К случаю можешь припомнить стихотворение Бродского:

*Почти подгоняем их взглядами, он  
Шагал по застывшему храму пустому  
К белевшему смутно дверному проему.  
И поступь была стариковски тверда.  
Лишь голос пророчицы сзади когда  
Раздался, он шаг придержал свой немного:  
Но там не его окликали, а Бога...*

Хорошо в середине февраля. Тонкие скрипы сохнувшей мебели, звуки машин, изредка проносящихся по набережной, мягкий сугрев от патентованной водки навеют на твою душу светлую грусть. Вспомнишь о добром, о хорошем в своей случившейся жизни; ко дню святого Валентина припомнишь и ту, кого нет с тобой рядом. Может, она в командировку уехала, в Амстердам. А может, покинула тебя навсегда. Всякое в жизни случается. Не грусти. Пропустив стопарь в свою очередь, процитируй, как у нас водится, Пушкина:

*Пью за здравие Мери,  
Милой Мери моей.  
Тихо запер я двери  
И один, без гостей  
Пью за здравие Мери.*

Отринув воспоминания о неприятностях, хорошенько выпив и закусив, вспомнив милых твоему сердцу людей, ты хорошо и с достоинством проведешь не одно февральское повечерье. И Бог тебя сохранит.

# Смирись, о гордый человек!

Однажды я залег в больницу с инфарктом. До Покровки доехал сидя, зато перед подъездным пандусом меня положили на каталку лицом вверх и протаскивали по таким несостыкованным плитам, что чуть всю душу не вытрясли.

Ну, лежу, лечусь, терплю капельницы. Слабею от непрерывного лежания, а может быть, и болезни. Недели через две приходят ко мне друзья: Павел Крусанов, Арсен Мирзаев и Наль Подольский. Приволакивают мешок с виноградом, персиками и другими подходящими для больного лакомствами.

Беседуем. И тут я пожаловался, мол, настолько ослабел, что мне даже говорить затруднительно.

— Ну, наконец-то ты позволишь другим хоть бы слово вставить! — ответил мне предатель Крусанов.

# Окушок

На Малой Посадской, дом 19, в дальнем дворе, в полуподвале, жил довольно неказистый мужик, Вася. Он работал то ли сантехником, то ли кровельщиком — мне, по младости лет, трудно было разобраться. Ходил он в потрепанной солдатской форме, еще с войны, и носил на гимнастерке намертво прикрученный орден Красной звезды. Сверху, конечно, потрепанный ватник, какие таскало тогда полстраны.

Впрочем, орден не придавал ему веса: будучи бобылем, ходил он во всем пропотевшем, пахучем, да и Красная Звездочка — была в те годы не редкость.

Мы, пацанва, его не дразнили, но и не общались особенно, так — все мимо да мимо. Был он горчайшим пьяницей, чем никому не мешал.

И вот, играя однажды в «маялку» на заднем дворе (дело было ранней весной), мы заметили, как он моет под устьем водосточной трубы, из которой бежал веселый ручеек (там, поверх крыш, уже грело солнце) и чистит сапожным ножичком — средних размеров окушка, то ли выбранного из мелочи в магазине, то ли пойманного в Малой Неве, «на набке», как мы говорили, имея в виду невскую набережную.

Из нагрудного кармана гимнастерки торчала непочатая «маленькая» с жестяным ушком для удобства вскрывания. Лицо Васи изображало такую радость предвкушения, такое удовольствие от процесса!

И вдруг — одно резкое движение (от азарта, увлекся!), и маленькая выскользнула из нагрудного

кармана, ударилась о твердый лед вокруг водомойны и разбилась вдребезги. Только темно-вишневой эмали звезда осталась на месте бутылочки.

Он сначала опешил, как бы глазам своим не веря. А потом — как горько, о боже, как горько он зарыдал! Какая детская обида на судьбу хрипела и взвизгивала в его голосе!

Мы молча переглянулись. Игорь Макаров, самый смелый из нас, подошел к нему и сказал:

— Ну, ты кончай, не страдай! Счас чего-нибудь сообразим! Подожди десять минут!

И мы не сговариваясь побежали каждый к себе домой, по копилкам и матерям — собрать денег ему на маленькую.

# Ветры анафемские

Этим летом чуть ли не через день дуют ветры отреченные, ветры анафемские, на глазах превратившие лесную делянку, растущую перед моим окном, в живописную прогалину, сквозь которую видна желтеющая дорога и легковушки, изредка по ней проезжающие.

Все случилось не в один день. Сначала в десяти метрах от дома сорвало с корней темноствольную березу (так поросшую каким-то местным мелким мохом, что я было принял ее за осину), но не уронило, так как она уперлась своею кроной в другую.

Я на нее посматривал из окна веранды и думал: «Как бы по кумполу не сыграла!»

Через пару дней поднялся другой анафемский ветер, назовем его в честь недавно почившего поэта Алексея Хвостенко «Орландиной»; ведь называют человеческими именами ураганы; проклятая «Орландина» добила-таки оторванную от земли березу, но, одумавшись, бросила ее на чистое место, поломав-то всего две высоких, но тонких ели и белый гриб.

В данный момент, 31 августа 2005 года, я вижу еще одну накрененную столетнюю березу недалеко от прогалины, дорогу и легковушку, весело шмыгающую туда и обратно. Впрочем, это могут быть разные легковушки — прогалина узкая, в рассеянности и не доглядишь. Я сижу на веранде за своей механической пишущей машинкой; ветер хлопает

ставнями и пытается сбросить со стола собранный женою букет. Как его назвать, этот ветер? Может быть, «Валера» — в честь беллетриста, которому раньше принадлежала моя «Любава», и который... ах, не стану перебирать замшелые сплетни, не о том речь.

В лесу — прогалина; мы с ним уже, по существу и по форме, белобородые старики. Что нам делить? И без того проблем — полон короб.

Что-то треснуло в перелеске. Дуют, дуют ветры анафемские...

## Дожили

Сегодня с утра я услышал по радио, что в городке Вятские Поляны, в окрестностях которого я родился, обнаружена молодежная ваххабитская группа. Юноши не только молились Аллаху: они долбанули уренгойскую ветку газопровода — навели шороху...

А в Великую Отечественную это место считалось глубоким тылом, недаром мою мать эвакуировали сюда из осажденного Ленинграда работать на патронном заводе.

Дожили.

# Дожили

(продолжение)

Оказывается, поселок Карташевская, где я отдыхаю, и где была написана мною документальная повесть «Татуированный граф», принадлежал когда-то капитану Лисянскому, одному из героев повести. Надо же — совпадение!

Ближайшее селение — Кобрино, начиная с которого до Суйды и далее располагалась огромная латифундия Абрама Ганнибала.

На тачке Вали Лелиной, поэтессы, вместе с Наташей Перевезенцевой, Алексеем Давыденковым и Арсеном Мирзаевым мы под вечер поехали на карьер с золотым под вечерним солнцем обрезом, в котором поселились стрижи — искупаться.

А потом, освеженные, двинули в Никольское, осмотреть больницу Кащенко, занимающую старинный барский дом — классицизм восемнадцатого века; барский парк и речку, в темных водах которой отражалась белая, изумительных пропорций, поставленная на гору колоннада беседки.

У ворот больницы, а также в людных местах других деревень кучковались обритые молодые люди, все в черном, с сосредоточенною в глазах, пусть не всегда и осознанною, но огромною тягою — убивать.

Или мне так попритчилось, ведь я — человек нервный. Хотя — вряд ли.

# Случай

*Памяти В. П.*

— Вот такая кувырколлегия! — подумал пьяный, падая в мягкое дно канавы и засыпая еще на лету.

Пожилой, но на вид вполне еще крепкий человек склонился над проложенной вдоль штакетника дачного забора придорожной канавой.

Водила промахнулся: часть торфа из разгруженного самосвала миновала гравийный настил, насыпанный над железобетонной трубой, и ухнула в глубокую канаву, ее запрудив.

«Эдак мне весь огород размочат! — думал человек, машинально почесывая пятернею под мышкой, чему не мешала бараньего меха душегрейка, надетая поверх линялой ковбойки. — Дожди — вон сколько воды накопилось!»

Он посмотрел на небо. Сверху вылупилось на него кроличьим глазом красное закатное солнце, окруженное радужкой перистых облаков. Не было охоты начинать с вечера, ну да мало ли! Он поплевал на ладони и ухватился за отполированную его же усилиями рукоятку лопаты. Сверкнуло блестящее, словно зеркало, острие широкого лезвия, нога в безразмерном ботинке легла на его плоское плечико, и работа пошла. Только сверкала под красным солнцем зарозовевшая от натуги лысина труженика, и от смешения близких колеров и неуклонного движения — лысины и зеркальной лопаты — побежали по темечку тысячи цветowych рефлексов. Но наблюдать игру света было здесь

некому — на дачу пожилой труженик приехал один, а дорога — безлюдна.

Пьяный спал метрах в ста от работающего человека, в канаве, запруженной огромным свалившимся пнем, ниже по течению. Он был укрыт разросшимися по обе ее стороны кустами ольховника. Спал сладко, как в лучшие времена своей жизни, когда Лида была к нему нежна; положив кудлатую голову на мягкую, утепленную курткой руку. О чем-то мычал во сне, поминал какую-то «маму», то ли в бранном, то ль в младенческом смысле, но шевелиться от сильного опьянения совершенно не мог.

Солнце уже скрылось за перевернутой двуручной пилою отлогого лесистого взгорья, цветковые рефлекссы на лысине дачевладельца угасли, но он продолжал остервенело работать, тем более что было еще светло.

Наконец перемычка из торфа между высокой водою и набрякшим от сильных дождей дном канавы стала настолько тонка, что не выдержала, и вода побежала вниз, к пьяному. Пожилой человек, опершись о лопату, ловко выскочил из канавы, крикнул, достал из кармашка душегрейки носовой платок, вытер мокрую от работы лысину, полюбовался на то, как медленно убывает вода, и тронулся в дом — мыться, ужинать, спать...

Вот такая кувырколлегия.

# Бог

— Что есть Бог? — спросил я Учителя.

— Ты очень хочешь это узнать? — ответил он вопросом на вопрос.

«Стареет», — подумал я, но сжав скулы в желваки, ответил:

— Конечно же, непременно.

Он с такой силой двинул своей палицей мне по темени, что я тотчас же узрел Бога.

«Не думал, что я такой добродетельный», — смекнул я, прежде чем раствориться в его светоносной субстанции.

— За «субстанцию» ответишь! — крикнул мне вслед Учитель, но я уже был не я, а сплошной сияющий свет.

## В блокаду

В блокаду мой отец одно время жил на Мичуринской. Однажды к нему в гости неожиданно пришел дальний родственник, Юра Лебанидзе. Войдя в комнату, он увидел маленький огарок свечи, стоявший на табурете у кровати отца. Не говоря ни слова, он схватил его, сунул в рот и, не жуя, проглотил.

# Всемирная паутина

Один мой дружок, Женька, сын известного в Петербурге поэта, уже несколько лет живет на Святой Земле. С недавнего времени он стал бомбардировать по Е-мейлу офис нашего общего приятеля письмами такого, приблизительно, содержания:

«Зяблик мой! Никогда не забуду проведенные в твоём обществе очаровательные мгновения! Сладкий! Как ты там без меня? Совсем, небось, отбился от рук? А я — помню. Все помню! И нежные касания, и взгляды украдкой! Твой Лысый Пупс».

Ничего «эдакого» между Женькой и моим приятелем, разумеется, не было — просто уж такая у Женьки система юмора. Конечно, учрежденческие секретарши балдели, принимая подобного рода излияния, и, зардевшись, приносили распечатки по адресу. Наш общий друг чертыхался и грозился при встрече убить шутника.

И все-таки что-то было в этих посланиях трогательное — не мнимая «голубая» любовь, а обычная, чуть стыдливая, дружба, настоящая на разлуке. Не писать же ему, мол, грущу изнываю без вас, братки мои милые!

# Делянка

Перед моим окошком растет шикарная лесная делянка — чистая ель, темный лес, полный в августе черных груздей.

Растет она и растет, а тут, откуда ни возьмись, понаехали кочевые цыгане и стали рубить большой сруб. Ну, думаю, соседей не выбирают. Так что — живите, плодитесь и размножайтесь.

Закончили они последний венец, пронумеровали все бревна, разобрали, гикнули и свезли сруб на продажу. И не вернулись.

Смотрю из окна — ни делянки, ни дома. Только свежие пни заплывают янтарной смолой, да пустое пространство буровит мне очи.

# Осенью

— Смотри-ка, Учитель, опять облетают листья. И года не прошло, а уже наступила осень.

Учитель взялся за палку.

— Садись! — приказал он мне, указывая на обломок скалы, возвышавшейся над пожелтевшей и поредевшей, пронизанной солнцем лесною долиной.

Я сел на широкий камень, на всякий случай вжав голову в плечи.

Учитель уселся рядом. Он поднес свой бамбук к губам и, раздувая щеки, заиграл удивительную мелодию, в которой слились осенние краски и несмешиваемые дуновения тепла и прохлады, присущие только осени, и крик слётывающихся птиц, и... впрочем, эта мелодия и была сама осень.

2005





ЗА  
ДВИЖ  
КА



*У нас еще в запасе  
Задвижки на бойпасе!*

Вл. Эрль.

Охапкин: Надеюсь, в следующем сезоне — продолжим...

Горбунов: В следующем *отопительном* сезоне.

*Выдержка из магнитозаписи подпольной  
литературно-исторической конференции,  
случившейся в начале 80-х годов.*

Айрис вбежала в мою конуру, вся пропахшая запахом кошонной травы. На ее светлых брючках отпечатались матово-зеленые пятна, делая ее похожей на... на... ну, потом.

— Кошон! — подумал я про нее. — Кошон, трижды кошон, где же она валялась в такую рань? Или прямо с газона прибежала, свиношка, похвастаться хорошею ночкой?

Ее светлые кудерьки...

— Зырин, на выход! — прогремело у меня над самым ухом. А, это слесарь Панюхин, копался чего-то в машинном, а теперь вот въехал в мои заморочки.

— Кого там еще принесло? — спросил я его недовольно.

— Да какой-то мажор тебя спрашивает, говорит — дело срочное.

Я вышел за двери котельной. Рядом, на стене дома, сипела шкафная, с натугой пропуская через себя газ, предназначенный для сжигания. Передо мной стоял Ландрин, собственною персоной. Глаза его были мутны, губы — запекшимися. Всегдашнее ощущение опасности, сопровождавшее этого типа в светлой зашмевой куртке, меня зацепило.

— Зырин, я посижу у тебя? В горле пересохло. Сообразим?

— Ну уж нет, на хер, — подумалось мне так спокойно. — Еще чего, заводиться с утра пораньше. Да еще с этим типом — полугангстером, полументом. Алфеева так он отделал — и ни за что. Еще бы — с поэтами разбираться не страшно. Со своими урлованными ментами пострашней будет...

— Понимаешь, Вадим, — отвечал я заискивающе, — ну никак не могу я тебя пустить. По участку котлонадзор шляется, увидит — места лишусь! В свете грядущей-то безработицы... В другой раз — пожалуйста. А сегодня, прости, не могу. Ты на тачке?

— Да какая тут тачка, во рту — как кошки насрали, и руки дрожат. А ты наглеешь, понтыра...

— Извини, Вадим, не могу. Обстоятельства... И вообще, как ты разговариваешь с писателем?

Вадим зловеще насупился. Драться по каждому поводу и качать права было глупо даже для него, бойцеовато-предательской личности.

— Рукопись-то мою потерял? Или отнес по инстанциям? — неожиданно схамил я. Уж больно, больно задевает меня этот его снисходительный тон.

— Пописать бы я хотел на твои рукописи. Ладно, потом отдашь...

Это у них, урловых, такое присловье. Ты ему: «Сколько время?» Он тебе: «Потом отдашь!» Значит, вроде как, ты ему должен, и отдашь, когда раскаленный паяльник в жопу засунут.

— Да ты не обижайся, Вадюшка! — ответил я примирительно. — Неровен час, еще треснем и воскреснем. А сегодня — никак не могу. Извини.

Он усмехнулся.

— Кестера видел? — спросил он меня. — Опять у Сайгона по тыкве схлопотал. Вся морда перекошоеблена.

— А он их коллекционирует, тумаки, — сказал я, подхихикивая в ответ. Одни собирают темаки, а другие — тумаки. Кому как придется...

— Ну, ладно. Живи и помни.

— Ну, ладно.

Ушел, сволочуга. «Живи и помни». Это в нем мент прорвался, судя по лексике. Сложная личность.

Когда я вошел в котельную, звонок громкого боя надрывался всюю. Так и есть, отключился паровик — маленький упуск. Хорошо, автоматика сработала. Как он стоит сейчас, такой котелок? Наверное, не один миллион стоит! За всю жизнь не отработаешь. Автоматика — старая, датчики шламом заросли, а где — обгорели. Лучше не пить здесь, и не беседовать, и не сочинять, уж тем более. Сиди и гляди на водоуказательное стекло. Ладно, пускай остынет слегка, потом подпитаю.

— Кстати, как любопытно, — подумал я, снова ложась на свой дерматином обитый диван некрасовской эпохи, украшенный частично отдолбанными резными финтифлюшками. — Ведь слово «подпитать» проникло даже в парламентский лексикон. Много там нашего брата теперь — кочегара — в парламенте. Одного Константинова возьми — прямо с подвальной лежанки — да в сенат!

Да, так на чем я остановился? Стало быть, так: поэт Рышард Крыształь. Живет он в Варшаве начала тридцатых годов. Выпустил единственный сборник, посмертно прославивший его. «Голоса ночи». Открывается сборник стихотворением «Петух на балконе».

*И вот, когда заря роняет свет хрустальный.*

*Хрипит его призыв, такой исповедальный...*

Или астральный! Попозже разберемся.

Всю жизнь поэт мучился преступной любовью к своей... Впрочем, и то и другое — противно. А может быть, он был первый на свете человек, изъеденный спидом? Когда еще о болезни — ни слуху, ни духу?

«Позднейшей клинической проработкой установлено, что Рышард Крышталь болел точно спидом. Откуда на него пала эта «голубая чума» — нам неведомо. Но тонкие ее яды...»

Как там эти стихи будут по-польски? Жаль, польского не знаю, да легко сочинить:

*Пеньонжек бонжек вздымоц не наруша,  
О лепше унзавар, галдобна груша...*

Особенно любил он проехаться на открытом трамвае от Старого Мяста к Выборовичам. Там, в Выборовичах, жила его молодая кормилица, пани Жонд. Он обожал букеты пустырника, крашенные слегка, по-домашнему, коими были уставлены все вазочки в уютном домике его престарелой кормилицы.

Молочный глухонемой его братец, Гаркуша, нежно любил посидеть у него на коленях. При этом он облизывал, жадно сося, его ухо, но Рышард мягко отстранял толстые Гаркушины губы, и открывал старый лексикон со следами красного воска на пожелтевших страницах.

Борзутка — читал он — любовь.  
Шардыня — наследство.  
Курабль — корабль.  
Булька — булка.  
Жид — жид.

Ну, приехали...

Пани Жонд, по давно установившейся традиции, поила поэта теплым парным молочком. Он причмокивал, отпивая, с атавистической ревностью косясь на Гаркушу. Потом заводил стенные часы (что было главным поводом для визита — пани Жонд не могла уж, по старости, дотянуться), вежливо раскланивался, и влекся туда, в Запольные Пуля — слушать природу.

Стихи он писал, в то же время, совершенно урбанистические, пренебрегая входившим в моду верлибром — со старомодно отмеряемым метром, точными рифмами — той старопольскою элегантностью, которая, может быть, и является главным содержанием сей западнославянской культуры, и которая составила основание его посмертной мировой славы.

Был он также сторонником великой Российской Монархии, и об отпадании Польши — жалел. До чего, впрочем, современника, занятым важнейшим делом санации — в плане общественном, и небольшого подтибривания — в личном, не было ровным счетом никакого и дела.

Книжка его прошла незамеченной; только старый бандит мусье Бублик, ссудивший его на издание деньгами, и романтически рассчитывавший на безумную прибыль — донимал его настоятельными и неумолимыми требованиями — возвратить долг.

А, черт, опять телефон. Что? Горячую воду? Извините, небольшая авария. Куда? Не ахай. Я и так на нем, только ножки свесил. И тебе, чтобы голова не качалась. Будет исполнено.

Котел-то, наверное, остыл — пора подпитать и запустить. Ну, морока, ну, честное слово! Хоть бы доплачивали за паровик. Дождешься, держи карман... Козлократия!

А устрою-ка я себе небольшую чайную церемонию. Чай-то, правда, хреновый — из веток. Большая такая доска прессованного зеленого чая, похожая на плиту ДСП. Но церемонии это не помешает — и, даже, отчасти, се усложнит — наиболее толстые суки, я, все-таки, выберу.

Итак, отбираем самые чистые, желтые, как прогорклое масло, параллелепипеды шамотного кирпича. Что за цвет долгожданый, любовь, терракота. Обмахиваем их от присохшей глиняной пыли — насколько возможно в этой грязи. Специальную, раз навсегда приготовленной шваброй без черенка. Не оставляя в душе умиления, складываем из этих продолговатостей небольшой самопальный очаг. Не торопясь и слегка медитируя,

как бы автоматически, но с предельной точностию движений, чтоб волосы на руках не спалить, восставляем на открытом торце запальника тонкую, длинную, как бы обмокнутую в берлинскую лазурь кисть огня.

Выпускаем из крана сперва мутно-ржавую, потом мутно-белесую от мельчайших укравшихся в ней пузырьков, а потом уже чистую и прохладную, и холодную, и, наконец, уже ломящую от холода руку — струйку воды. Заливаем в цилиндрический медный чайник, надыбанный на одной из богатейших помоек — нашей, прозрачную, ледящую стенку, отчего он весь мгновенно покрывается бисеринками пота — жидкость, закрываем алюминиевой крышкой и ставим на горящий очаг.

Дождавшись кипения, снимаем чайник и опускаем на кафельный пол. К тому времени крупные сучья из чая благоговейно отобраны и выброшены. Оставшуюся труху засыпаем. И скоро — чаек перед вами. Пейте из стакана граненого, не забыв помыть его с мылом — черт его знает, какой спидоносец пил из него в предыдущую смену?

Вот попьешь — а там уж пора показания приборов записывать... Поневоле тут вспомнишь, что ты на работе, и, загорюничавшись, примешь сердцем тот факт, что Боженька проклял человека трудом. И так-то на душе станет смиренно, и некая неизъяснимая духовность... Тпру-у-у, Зырин!

Чай, однако, горчит. Зеленого не сластят, и приходится так наслаждаться, невзначай вспоминая довольно приличное хокку, отдающее прямо европейским сентиментом, джапанам, вроде бы, и не свойственным:

*За ночь вьюнок обвился  
Вкруг бадьи моего колодца...  
У соседа воды возьму.*

Хороший стишок. Хотя может звучать, и как смертный приговор исполнителю директору корпорации «Геккай». Про-

чтя его, побледнел, и, окинув прощальным взглядом огромный свой кабинет на тринадцать татами, поднял раму решетчатого — на голландский манер — окна, и бросился сверху на мостовую. Предшествовало стишку короткое, в духе древних, послание:

«Уважаемый Табора-сан! Преисполненный крайнего уважения, беру на себя смелость приподнести вам эти стихи, как утонченному и разумному знатоку нашей древней поэзии, являющейся, как вы знаете, Национальным Сокровищем.

Ни на минуту не сомневаюсь, что вы его правильно истолкуете, и поступите согласно велениям вашей совести, а так же присущим каждому Японцу теплым и родственным чувством к жене и детям.

Пользуясь случаем, хочу передать вам привет и наилучшие, отборные пожелания от всех членов Клуба Любителей Рисовых Колобков.

Ронин.»

Как-то Сашей Соколовым отдает. Ну, да я ничего не записываю, а так, для себя сочиняю. Тем более, что Кавабату не он же, все-таки, изобрел. А также Басе с Утамарой. Сами они себя изобрели — вот в чем загвоздка. И тебе бы, Зырин, недурно было бы самого себя сочинить. Ну, да смена велика, успеется еще. Главное — не терять отсутствия духа.

О! В этом выражении есть уже нечто дзеновское! Так, незаметно, и впрямь ояпонишься, ебать-колотить!

Перепитал. Ну что это за наваждение, честное слово! Что же за жизнь — между перепиткой и упуском! То пусто водоуказательное стекло, то — переполнено, не всегда отличишь. Вообще-то, не понимаю, каким шестым чувством братья мои кочегары угадывают, различая — когда в стекле воды под завязку, а когда — пустое оно. Вот где пространство для вольной мистики! Вот где фантазии разгуляться!

Ну, да навык — есть навык, даже если он и имеет корни иррациональные. Иногда ведь секунды остаются до взрыва, тут не раздумывать надо — трясти! Тут-то и рождается в глазу раз-

личение между влажно-стеклистым оттенком переполненной трубки, и сухо-стоячим — пустой.

Отрубим подпитку. Надо продуть. Да опять бы не упустить — придется снова подпитывать. Так можно всю смену проколготиться, оставив санчасть и буфет вообще без горячей воды. Ибо пар, проходя по змеевику, греет в специальной емкости, называемой бойлером, обыкновенную водопроводную воду. А при отсутствии ее, поднагретой, возникают по адресу кочегара различные инсинуации, матюги, — вплоть до бумажек, которые так, в сущности, ненавистны русской душе, и к запуску которых она прибегает уж в крайнем случае. Бумажки сии зовут «докладными записками» и чреватые они лишением премии, а то и попросту — увольнением с должности, если, конечно, можно звать «должностью» обязанность маяться в душном подвале, сочиняя при этом горы ненаписанных книг.

В дверь позвонили. Как судьбоносно звучит этот каждый летучий звонок, обещая случайный визит, изощренную перепалку о вечном — ведь ко мне забегают погреться и доктора философии — или бутылку рислинга с банкой французских устриц — ведь здесь бывают и досужие импортеры — или насуспенную физиономию главного энергетика — или...

Ко мне забежал красивый и томный молодой человек по имени Гамлет. Служит он трубачом в военном оркестре, но сегодня был — в штатском. Не снимая куртени, он долго жал мою руку, глядя в глаза мне бархатными своими, тронутыми нежной улыбкой.

— Зырин, душа любэзна, — сказал он, стилизуя свою речь под «кавказскую», что должно означать, да и означало определенную степень интимности, существовавшей промежду нас, — я тут с тромбоном тусуюсь, мешает — у себя до вэчера не подержишь?

— Нимало не затруднюсь! — отвечал я по-деловому, в точной и несколько старомодной манере. Да что он у тебя за тяжелый такой?

— Новэйшая модель. Хуярит, как слон на случке. Или погромче. Так ты его сунь куда дальше — вещица дорогая, однако, как бы кто нэ схватил по ходу... А вэчэром я зайду, забэру...

— Вон там ящик с песком, под пожарным щитом — туда и клади. Никто не возьмет, сюда не суются. Как мама?

— Мама? Ой, мама-джан, мама-джан... Пишет, что холодно, голодно и опасно. Дядюшка мой, Полоний Кабулян, ты знаешь — опора семьи был, многих знал, много имел... Так он в землетрясеньи погиб, вот и всем хуже стало. Брат Арутюн в школу ходит. Что бы там ни было — а учиться вэдь надо... Малый еще...

— Ну, а как служба?

— Что службе сдэлается? Сплошное «Пращанье славянки». Пращай-яй-яй, нэ гарюй, —юй, —юй. И так — всю нэдэлю. Жить можно. Да и ты — прощай, не горюй. Как тебя русские — не достают?

— Да, вроде бы, нет... — замешкался я, несколько ошарашенный прямою вопроа. — Ты знаешь, я ведь — русский писатель...

— Чего-то там русские писатели все грызутся мэжду собой — даже я слышал... Тебя-то не трогают?

— Да что ты, милок — ведь те, кто в грызне той участвует — по котельным не ходит. У них там свои разборки — мильонные...

— Ну, и тэбэ — мильон денег. И «вольву» — впридачу. Прощай, стало быть, не горюй.

Он ушел. Нежный и юный, в штатской одежде не в пору, чистый, задумчивый и прекрасный. Бедный мой Гамлет, как еще сложится твоя жизнь — да мне ли загадывать?

Ну, все, чаю попил — пора за работу. Люблю я строчить на финской бумаге — слава те, Господи — большущая стопка у меня накопилась. Все мне машинки какие-то попадают — с дамскими именами. Раньше была немецкая пишмашинка по имени Мерседес. А теперь вот — Любава, по гэдээровской лицензии сделанная, стало быть, корни у ней тож — немецкие.

Я сел и задумался. А потом понесло меня в ритме старинного вальса.

## ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

*Здравствуйте, милая маменька! Привет Вам от сыночка Петруши! А также от господина Ободинского. Как ни взгляни, а он очень милый, господин Ободинский. Именно его благорасположенному представителю обязан я тем, что зачислен в штат экспедиции. Я не описывал в подробности, какой состоялся меж нами решительный разговор; а теперь, сидя в номере гостиничном при свече, и откушавши чаю с коржиком, имею достаточно времени, чтобы рассказать Вам все обстоятельно.*

*Вы знаете, что жизнь наша в Морском Корпусе не очень веселая: вечером, переделав урочные занятия, подчас и не знаешь, куда свою буйную головушку дети. Я вознамерился перебрать свою маленькую нумизматическую коллекцию, и как раз вынул из рундука тот прелестный кедровый ящичек с отделениями, который Вы «по велицей милости своей» подарили мне к именинам, как вдруг вбегает в дортуар Фридрих Кюхельгартен, тот самый непоседливый гардемарин, рассказами о котором я имел дерзость неоднократно Вам докучать.*

*— Петька! — кричит, — зовут тебя к дежурному офицеру!*

*Я даже побледнел от волнения. Особых провинностей за собою не число, а на душе все же как-то неладно. Существа-то мы тварные, несовершенные, и все, как говорится, не без греха.*

*Кюхельгартен торопит: «Кончай охорашиваться, все же ты — не красная девица, ждут тебя!»*

*А я ему на это: «Сударь, когда вас зовут по начальству, надобно иметь вид пристойный, дабы вызвать и внешней опрятностью хорошее о себе понимание, а не то, как иные, на манер подпившего питерщика, в растрепанном виде повсюду рыщут!»*

*Одним словом, берет меня Действительный Тайный Советник господин Ободинский в далекую и продолжительную экспедицию к подножиям Анд, что в Южном полушарии, на континенте Америке. Не имев случая, по неотложности решения, испросить Вашего, Ма-тушка, благословения, со слезами испрашиваю его, и обещаюсь бе-*

*речь себя и всечасно думать о Вас, молиться за Вас, и Вас помнить. Обещаю также сохранить честно древнее отцовское имя, и быть достойным и Вас, и покойного Папеньки.*

*Засим остаюсь покорный Ваш сын  
Петруша.*

Так вот. И только я вставил в машинку финский свеженький лист, как в дверь позвонили. Пошел открывать. Стоит Конкин.

— Приветствую, — говорит, — вас, коллега. — Давно, — говорит, — не виделись. Вы не заняты? Вы не с дамой? Сами ли вы по себе?

— Сам-сам, — отвечаю, — как военный сампан. Беру кочегарку на абордаж. А вы-то давно из Бразилии?

— С недельку как прилетел. И привез кой-какие материалы по поводу экспедиции Ободинского. Вы ведь, как будто, интересовались?

— На ловца и зверь бежит, честное слово! Матерьялы-то пинсаные?

— Материалы на португальском. Надо еще посидеть, перевести. У вас есть любители португальского?

— Да нет у меня португальских энтузиастов, пинейру им в бок! Может быть, на словах перескажете? Хоть бы вкратце.

Он принялся мне рассказывать невеселую историю экспедиции. Его четко очерченные губы и выдающийся лоб просились на какую-нибудь юбилейную медаль — да они, я уверен, со временем и будут ее украшать, ученый он сильный и деловой.

— Ну, вот, — завершил он рассказ. Таким образом все и выяснилось — через семьдесят лет. Мелкие детали я-то, конечно, упустил, да вы сами додумаете — не в «Труды» же «Санкт-Петербургского университета» вы пишете! Или не пишете?

— На днях приступил, — сдержанно отвечал я. Еще неостывшая рукопись мне подмигнула с угла стола.

— Сквозняк тут от форточки. Вон, и цветочки в стакане колеблются...

— Пока я шел к вам, — сказал он, снимая свою выдавшую виды куртку и аккуратно вешая ее на спинку стула, — одна мне изрядная этнологическая теорийка в голову пришла.

— О Боже! Да вы меня не пугайте!

— А вы послушайте. Теорийка ничего себе, малость занятная. Не обращали ли вы внимания на повторяемость темы холмов в народных песнях различных стран?

— Это как?

— Ну, вот так, приблизительно:

*«Падают красные  
листья, а литовцы идут по холмам...»*

Или:

*Ой, во горе жєнци жнуть.  
Ой, во горе жєнци жнуть.  
А по-пид горою,  
Долом-дольною  
Козакы йдутъ...*

Или еще вот:

*По долинам и по взгорьям  
Шла дивизия вперед...*

Тут, понимаете, изрезанность, складчатость пространства воспринимается, как аналог пути народа во времени. С холма, как бы, видна даль, и не только пространств — и времен! А они идут и идут. Анализируя это дело, я вдруг вспомнил об иудеях. У них в подходе наблюдается некоторая типологическая разница.

— И в чем же она заключается, позвольте полюбопытствовать?

— Понимаете, «холмы» для древних евреев были понятием сугубо отрицательным. В Библии, в книге, если не ошибаюсь,

«Паралипоменон», а, может быть, «Царств», есть чисто хроникальные строки, звучащие так, приблизительно: «Год такой-то. Холмы продолжались».

Заметьте, в сугубо отрицательном контексте. Речь здесь идет о языческих идолах, различного рода ваалах, воздвигаемых заблуждавшимися иудеями на высотах — для поклонения.

Изживая язычество, изживали они в себе и «холмы». А, изжив, стали в чем-то отличаться психологически от тех, кто «холмы» еще как-то атавистически почитает. Вот чем Господь отличил их, заречных...

— Ну и что? Хорошо это, или дурно?

— Извините, но наука подобными категориями не оперирует.

— Ну, что ж. Глубоко роете, господин Конкин. Только вот — к чему вам все это?

— А — ни к чему. Если бы «к чему» было, я бы вам не рассказывал, а записал бы, проверил, отмерил и напечатал. Просто, забавною версией поделиться захотелось.

— Спасибо за Ободинского. Чем-то, небось, разжились там, на Западе? Одеты-то вы отнюдь не как куколка...

— Мне и не нужно. Жене кой-чего приволок, да и дочке... А там — хорошо, то есть тем, конечно, кто в кампусах обитает. Я в глубинку не лазил. Не было надобности, да и опасно там, говорят...

— Чем бы вас угостить? Чайку зеленого — не хотите?

— Спасибо, что-то не хочется. Я им еще в Бешкентской долине опился — единственное было спасенье от жажды. Красоты — невероятные!

— Да знаю, я ж был там, в Таджикистане, через годок после вас. Именно в Бешкентской долине. У Саши Белова. Он нас, салага, на грузовике перевернул. Чуть с жизнью не попрощались...

— Да, с тех пор много воды утекло в Чиличорчашме... Помните?

Как же, ну как же было не помнить? Конкин давно уж ушел, а я, глядя в желтую стену невидящими глазами, заново пере-

сматривал все: плавный, спокойный Вахш — не река, а страна — с огромными, заросшими зеленью островами, протоками, да и целыми озерами на островах; гордый Пяндж, бурливый Кафернеган. И шапки снеговые на вершинах других, горных стран, откуда так сильно веяло холодом и пространством.

И замечательное, священное среди местных урочище, где когда-то помолились Аллаху сорок четыре солдата Пророка, и, совершив намаз, убедились в чудесном влиянии их молитвы — из скал забили сорок четыре чистых ключа и слились в небольшой арык; то место, с искусными на сваях помостами и беседками, зарослями чинар и джидовника, непуганой крупной рыбой, слетавшейся на брошенный в чистую воду кус лепешки, ничего не боясь; маленькими, с руку, водяными полозами и бесчисленным количеством мелких певучих птиц; то самое место...

А дальше, в пустыне — сухая, колеблемая ветром, белесая змеиная чешуя, и характерные бороздки в песке — будто извилистый шланг протянули; цепкие шакальи следы, мертвые ишачьи кости; заброшенные еще в двадцатых, полуосыпавшиеся стены какого-то немирного кишлака, и черепки, и сосуды, и золото, и рубины некоей древней, полуантичной, полубуддийской цивилизации, останки которой мы под палящим маленьким солнцем в сердцах отрывали — а крупные желтые шершни, раза в четыре больше обыкновенной осы, вились между нами, но вовсе не жалили...

Еще мне запомнилась горная местность Саят, со старинным мазаром десятого, еще домонгольского века. Строена мечеть была из сырца, из местной же глины — и подпочвенные воды, всасываясь в стены строения, окрашивали их на треть высоты в бледно-розовый цвет. И так совершалось уже почти десять веков, но родные соки земли не размывали строение, а, может быть, даже крепкими своими солями утверждали его и питали, как питает старое, тысячелетнее дерево хорошая почва.

Местный смотритель, старик в чалме и халате, о чем-то рассказывал на своем провинциальном фарси — и единственный среди нас, его понимавший, с заклеенной пластырем бровью, разбитой во время аварии на дороге, когда молодой козлик Сашка, начальник наш, чуть не угробил всю экспедицию — что-то переводил. С ним рядом стоял ясноглазый мальчик и внимательно выслушивал деда.

Они оба неплохо тут поработали — местность вокруг цвела и благоухала. Почва, возделанная кетменем, испускала едва еще видный утренний пар. Розы чуть ли не на глазах распускались...

Нечто под потолком зашипело, и свет пригас. Спеклась одна из люминисцентных трубок прямо над столом. Придется зажигать настольную лампу, если почитать захочу. Да читать, впрочем, можно и на некрасовской эпохи диване, с обгрызенными каким-то маньяком финтифлюшками. Над ним свет — поярче. Окно у стола замазано белой масляной краской — света дневно-го почти-что не поступает.

Прекратилась там, в трубке, какая-то «ионизация».

Впрочем, это со мной тут — «ионизация». Сижу, понимаешь, в продолговатой котельной, как Иона во чреве кита.

Кругом — какие-то специальные, небольшие шумы, свойственные нутру кочегарки. Жужжанье моторов, капанье воды из неисправного крана, гул сжигаемого в топке Лазо — или Газа? Впрочем, герои и мученики недоброй коммунистической революции здесь ни при чем. Вот, когда я работал в подвалах Чека, в котельной на углу Адмиралтейского и Гороховой, ночью дежурить не мог. Всем рискуя, я каждую ночь убегал — стоны мерещились тихие.

Прозвучало еще и: топ-шлеп, топ-топ-топ... Звук такой, как будто по кафелю бегают мыши в лапах. А кто-то на борове, за котлами, порвал длинный лист ватмана. И зловеще при этом хехекнул.

Дзинь... С легким звоном вырубилась еще одна люменисцентная трубка. А потом дзиньканья и негромкие хлопки пошли уже со всех сторон, и всего их было восемь — по числу ламп в помещении. Стустилась тревожная темнота, и только квадрат покрашенного белым окна испускал слабый свет. Я почувствовал, что нечто готовится, но не мог, почему-то, сдвинуться с места и принять меры.

— Ну, что, допрыгался, наконец? — спросил меня кто-то будничным голосом, раздавшимся у меня в среднем ухе (с левой, разумеется, стороны).

Я второпях обернулся. Предо мною стоял худощавый такой гражданин в толстовке, голубых шароварах и спортивных тапочках, надроченных до немысленной белизны зубным порошком.

— Не понял! — ответил я как можно более независимым тоном. — Как вы вошли, вообще-то, в служебное помещение? У нас тут посторонним, признаться, вход воспрещен...

Ну какой же я «посторонний», Петр Михайлович? — удивился возникший. — Давайте-ка на сей раз без Камю — и писателя, и коньяка уж — тем более. Вот чувствуется, чувствуется в вас поздний шестидесятник. Круг ваших культурных ассоциаций предельно узок, доложу я вам без утайки. Вы бы еще Тейяр де Шардена попомнили — модного, кажется, богослова — году, эдак, в шестьдесят пятом...

На лице его шевелились багровые отсветы, пробежавшие сквозь стеклышко на котле, за которым бился огонь. Бледный полуденный свет, льющийся из матового окна, создавал такую довольно мертвенную световую основу.

— А все же — кто вы сам будете, и на каком основании здесь? — спросил я его, разворачиваясь вместе со стулом в его сторону и в упор глядя в запавшие, едва различимые во тьме глазки.

— Кто я? А вы сами не догадались? Ну, конечно, ваш демонстрантер. Зовут меня — Пектор, почти как вас. И чему вас в школе учили... Помните, на Малой Садовой — только и разгово-

ру было, что: Томас Манн, Достоевский... Неужто вы меня сразу не признали?

— Откровенно говоря, опиши я подобную ситуацию в те далекие годы, меня бы подняли на смех. Стал быть, готовится страшное искушение?

— Приплыли-с. Помилуйте, ну зачем мне вас искушать. Вы сами — уж до того иссушенный, до того, понимаете, отчаянная вы, забубённая голова, что вас искушать — только портить. Разрешите присесть?

— Да садитесь, милейший, присаживайтесь, будьте как дома...

— А я и так — дома. Если вы мне укажете более подходящее место, чем котельная, где при помощи огня варят воду, где пьянство, грубый разврат и социальная зависть пустили столь глубокие корни; где постыдная лень и глухая вражда ко всему, что есть чистого и дражайшего на этом свете...

— Послушайте, Пека! — перебил я его. — Вам не кажется, что вы несколько то... перегнули? Вы что же, добро пришли сюда проповедовать? Чьим же именем, позвольте спросить?

Чтобы скрыть свое некоторое смущение, он достал из кармана голубых шаровар портсигар из серебристого сплава с тремя охотниками на крышке, вынул оттуда папиросу, корректно постучал о портсигар мундштуком и, щелкнув пальцами, высек месмерический огонь, от которого и прикурил; глубоко затянулся и развалился на стуле, всем своим видом демонстрируя независимость, сунув свои белые тапочки, пахнущие свежим зубным порошком, чуть не под нос мне, хозяину этой полуподвальной гостиной.

— Какие эффекты! Может, для понту в коту или черного пса превратитесь? Любопытно было бы посмотреть! Кстати, а что значит ваша, ужасно зловещая, фраза насчет «допрыгался»?

— В коту или пса — пожалуйста. Но неплохо бы договорить. Именно потому, что «допрыгался»!

— Ой-ой! Только я попрошу вас поторопиться — у нас, понимаете, по участку котлонадзор бродит — как бы он вас не засек...

Премии снимут!

— Мелкие враки нимало не красят даже и сочинителя! — сказал он. — Вы забываете, что я пользуюсь внесенсорными, так сказать, средствами... Могли бы вы быть со мной и поискреннее. Котлонадзор тут появится в среду, но это — не в вашу смену. Кстати-с, а не хотите ли вы всегда знать, какие уж там служебные сложности вам угрожают? Могу подсказать методу...

— Экий вы, ловкий какой! Сначала узнать пустячные подробности будущего, а потом... Ну, скажем, проведать день своей смерти, заломить в отчаяньи руки и проклясть все на свете... Подловить собираетесь?

— Ошибаетесь, миленький мой. Именно, движим заботой о комфорте вашем душевном, я к вам и притек. С деловым, между прочим, предложением.

— Слушаю вас тем внимательней, чем проникновеннее модуляции вашего голоса. Готов и к сотрудничеству. Я ведь — парнишка без предрассудков...

Ну, что ж, тогда — к делу! сказал он, гася недокуренную папиросу о подметку своей белой тапочки. В воздухе запахло паленым рогом. — Вы ведь согласны, что, в некотором роде, «приплыли»? Могу вас избавить от этого ощущения.

— Каким образом, позвольте спросить?

— Да самым обыкновенным. Мы с вами заключаем полюбовное соглашение, и с этого мига все ваши комплексы — как рукой... Я клоню не к тому, что вы станете циником, которому нет и дела до нравственной оценки собственных действий. Просто, по моему мановению, вы перестаете грешить, и живете в союзе с самыми высокими стандартами нравственности. И впоследствии, убеленный сединами, отходите с миром, окруженный почтительным сожалением родни и друзей.

— От вас ли я слышу такое? А «соглашение»?

— Ну и что же, что «соглашение»? Как говорится, пути добра — неисповедимы! Не будет ли целью любого, кто понимает

толк в жизни — высоконравственное, без ненужных мук совести — бытие?

— Интересный подход. Я, стало быть, препоручаю блюсти мое душевное спокойствие — вам, снимая, тем самым, ощущение греха и связанных с ним моральных мучений... Что-то в роде кайфа без ломок... Ну, что же — предложение заманчивое, надо сказать... Я подумаю.

— Чего уж тут думать? Ведь ваша жизнь — ад! Сразу и соглашайтесь!

— Сразу-то я не могу. Предложеннице, конечно, заманчивое... Но ведь есть выход еще и попроще!

— Какой же, позвольте-с полюбопытствовать?

— Сами вы знаете, полупочтеннейший. Хахакири. Как полагаете, в чем смертный грех суицида?

— В чем же, по-вашему? Интересно узнать-с.

— А в том, что работник, нагруженный тяжелою ношей, сбрасывает ее наземь, до цели не доходя. Как вы полагаете, будет ли доволен хозяин поклажи? Так же и с тем вариантом, что вы предлагаете. Сбросить кладь наземь, и путешествовать налегке, как какой-нибудь граф... Боюсь — предложение — из коварных... Кстати, у меня к вам просьбишка образовалась. Вы петь — умеете?

— Иногда-с, по утрам, разминаюсь... А что, собственно?

— А вы бы попили гоголю-моголю, да и спели для услаждения слуха. Помните: «На земле, весь род людской!» Доставили б несравненное удовольствие!

— Паясничаете? А вы не подумали, по силам ли вам нести отмеренный груз? Соразмерьте возможности ваши с тяжестью ноши. И хорошенько все обмозгуйте — время-то терпит. Ну, откажетесь вы от моего предложенья. Что вы получите — индугенцию? Гарантию положительного баланса? Будете причислены к сонму праведников? Сами ведь знаете, что это не так. Наоборот! Вы...

— Простите. Звонит телефон. Куда же он затерялся?

\* \* \*

Я поднял голову от стола. Телефон надрывался со страшной силой. Все восемь продолговатых светильников испускали свой яркий, хоть и неживой, свет. За котлами, на борове, кто-то шевелился — должно быть, крыса. Ага, я уснул. Надо бы рожу умыть... Ну и дрянь! Ну и лажа! Оперный босс в белых тапочках!

Телефон замолчал. Кто это ко мне прорывался? Теперь — не узнать. Смешно, ей же богу!

Пошел в туалет, намылил лицо и руки куском семидесятидвухпроцентного мыла. Ополоснулся и вытерся серым зававанным полотенцем.

Так. «У всякого предмета есть стенка, отделяющая его от остальных. Рыба отделена — чешуей. Яйцо — скорлупой. А яблоко — бледною кожей. И в этом — обязательная и вечная данность, иначе — какая-то крошка получится, хряпа. Стоило ли бежать от нее к блистающим и ясным чертогам?

В 75 году Вальдиев преподносит ценителям собственный жанр — жанр абстрактного натюрморта. Где твердые предметы — бутылки, стаканы, яблоки, яйца и раковины, прописанные с четким и недвусмысленным мастерством, расставлены на пространстве холста с холодноватой ясностью, выверенную точной рукой бывшего беспредметника...»

О чем это я? Никак — о Вальдиеве? Ну и ну... Опять работаем в автономном режиме!

В котельной, меж тем, раздавались разные звуки. Слышалось тихое курлыканье газового счетчика, гул сетевого мотора, раздражающее, вибрирующее гудение клапанов на котлах. Где-то на улице, за окном, коротко каркнула и заткнулась ворона.

*На столе орлом сидящий,  
Мой последний хлеб долбящий,  
Скоро ль будешь — улетаешь?  
Он ответил: «Никогда!»*

Или она ответила? Нет, скорее — «оно». То самое «оно», из которого прет разный вздор. И ничего, ничего с этим не поделаешь!

Поглядите на фантазера сквозь окно его кабинета, каптерки, котельной, сторожки, вагона скорого поезда. Он сидит в одиночестве, и губы его — шевелятся, а выражение лица все время меняется — то грозным становится оно, то застенчивым, то — изысканно-похотливым.

Вскакивает, мечется по помещению из угла в угол, ерошит свои жидкие волосы. А потом набрасывается на хлипкий тоненький лист, и наносит какие-то непонятные значки и крючочки: сверху — вниз, справа — налево, а не то — и слева направо. Лицо — искажено, губы — дергаются и общее впечатление — глубокой и неизлечимой патологии — он производит.

Хочется спросить: «Ну, зачем же так мучиться? Ведь до кассы — еще далеко, а к Нобелю — тебя и за километр не подпустят! Что ж ты, страдая, терпишь? Что ж ты изводишь себя Бог знает на что?»

Увидит тебя сквозь стекло своего мезонина, и ответит одними губами: «Ничего не поделаешь!»

А потом он опомнится, удивится вашему диалогу, помолится, примет успокоительного, и на сегодня больше — ни-ни.

— Заработался! — скажет. — Уже и к окну подлетают! Приплыли!

А все это, честно говоря, следствие глубокого и неизлечимого одиночества. И неуменья любить никого, кроме как — на бумаге. И от этого во всем — привкус смерти. Ивана там, может быть, Ильича, или другого какого-то персонажа — неважно.

Подобно тому, как человек в пустой комнате начинает сам себе что-нибудь напевать, сочинитель — всегда — «человек в пустой комнате» — забывает ощущение оставленности разными байками. На пять он томов размахнется, иль — девять, без разницы.

Антон Палыч Чехов сочинил довольно большое количество текстов. Но эпиграфом к написанному можно поставить лишь

один тот, единственный, который он выдал на прощанье. А что ж он сказал? А всего лишь: «Я умираю». Но он произнес эту фразу по-немецки, то есть — не к себе обращался, а к немецкой сиделке. По-русски его б тут не поняли.

И любой, собственно, изложенный писателем текст — есть это протяженное — «я умираю». И так, и эдак, и в шутку, и всерьез — а все — об одном и том же. «Если б водка была бы твердой, я б ее грыз!» Если нет возможности сообщить об этом по-русски, скажу на немецком. Чтоб быть услышанным. Чтоб пожалели. Чтобы ответили.

Так как в безлюбой вселенной прямая коммуникация невозможна, прибегаем к общению опосредованному, обращаемся к мнимому собеседнику. И только последнею фразою выдадим — жажду живого контакта с другими людьми. Но на деле подобный контакт по многим, и личным, и общественным, обстоятельствам, реально говоря — невозможен. И бедный же, бедный он все-таки — Антон Палыч — тянул на плечах большую семью, имел, как говорится, жену-красавицу, а в последний момент рядом с ним не оказалось никого из своих. Ни родни, ни читателей, ни почитателей. Рятуйте, люди! Ихь...\*1

*Уже болит в душе полип.*

*Зовите доктора Годо.*

*Кто, в самом деле, петь велит?*

*В самом дурацком деле, кто?\*\*\*2*

А я знаю, кто. Косая с косой. Ну, ладно. Пора продолжить работу. Тем паче, что все обстоятельства теперь мне известны.

Я вставил своей «Любаве» в каретку свежий чистенький лист, и продолжил.

---

\*Я... (нем.).

\*\*Стихи Алексея Шельваха

Здравствуйте, любезная Маменька.

Вот уже больше трех лет я не получал ваших писем. Последнее прочитал я в Гуаякиле, где мы с господином Ободинским и остатками нашей экспедиции отдыхали два месяца. Нет во всем свете слов, которыми можно было бы описать то волнение, что я испытал, разворачивая тоненькие листочки, испещренные столь милым моему сердцу почерком вашего приказчика Федора, которому вы диктовали.

Сидим мы сейчас в лачуге сборщика каучука, на границе Перу и Боливии, на берегу небольшой речушки. Мы пришли сюда после долгого путешествия по землям максуби — крупного индейского племени.

Никогда не забуду первого завтрака в этой хижине, где мы провели уже два дня, отъедаясь рисом и чарке. Рядом с нами в тени лежал человек, умиравший от землеедства. Это было истощенное существо со страшно распухшим животом. Тем, кому знакомы признаки этой болезни, было ясно, что больной безнадежен, и наш хозяин не считал за необходимое проявлять сочувствие к умирающему. Несчастный, не переставая, стонал, восклицая:

— Как мне больно, синьоры, как мне больно!

— Через полчаса ты умрешь, — отвечал ему серингейро.

— К чему поднимать такой шум? Только портишь завтрак синьорам.

Через час умершего похоронили и, вероятно, забыли о нем.

— Зачем он родился? — думал я об усопшем, несколько приуныв. — Какой смысл был в его детстве, в беспросветной нищенской жизни и одинокой, мучительной, никем не оплаканной смерти?

Да не вызовет в Вас, дорогая Маменька, этот грустный рассказ беспокойства. Спешу сообщить Вам, что я, слава Богу, здоров. Собранные нами многочисленные коллекции хорошо упакованы и отправлены из Гуаякиля в Петербург. Думаю, годика через два мы вернемся.

Господин Ободинский по-прежнему бодр, и я со временем сделался его правой рукою, так что Его Высокопревосходительство мною премного доволен, и даже послал в столицу представление на Высочайшее Имя о повышении меня в чине. Стараемся ради вящей славы Российской науки, и, думается, наши усилия небезуспешны.

Иногда, когда вспомнятся тихие ивы над нашим прудом с навозной плотиной, и водяная мельница, и ручей с маленькими рыбками — сердце мое замирает в сладкой тоске по нашему Вознесенью, и по Вам, Маменька. Надеюсь, что жалование, мне причитающееся, пересылают Вам без задержек. Как вернусь, возьму отпуск годика на три, и поживу тогда с Вами, под сенью родительского гнездовья.

Я знаю, я чувствую, что Вы живы, здоровы, и все у Вас хорошо и покойно. Очень я сожалею, что, по обстоятельствам службы, не имею возможности лелеять Ваши преклонные годы и помогать Вам во всех Ваших трудах и заботах. Но, даст Бог, надежда на благость Которого по-прежнему во мне тверда и крепка, мы еще свидимся, и вознесем к Престолу Его наши благодарственные молитвы и слезы.

А мне-то уж не в чем перед Вами и каяться — благие начала, заложенные во мне Вашим мудрым воспитанием и нравственным руководством, по-прежнему живы в моей душе. Что ж до переносимых нами подчас некоторых лишений, то я уже к ним притерпелся, помня всечасно, что одолеваю их к вящей славе и разуму своего дорогого Отечества.

Господин Ободинский всячески меня в этой мысли поддерживает, и, хоть за эти долгие годы я уже сделался вполне взрослым и самостоятельным человеком, по-прежнему отношусь к нему со всем уважением, которого требует и высокий чин его, и преклонные, все-таки, годы.

Берегите себя, дорогая Маменька, и молитесь за своего нежно любящего и преданного Вам сына

Петра Гречанинова.

Тэк-с. Листик кончился. Неплохо бы порубать. Сварить себе, что ли, змеино-го супчика? Или полопать в нашем факультетском буфете? Нет уж, надо бы, все-таки, погодить. Еще успеется — смена велика. А скучно — прямо, как в одиночке. И никто ведь не навестит, разве — бес какой-нибудь, из нечиновных. Со словоерсами на лживых устах. Поиграть, что ли, на гамлетовском тромбоне? Это ведь не сложнее, чем лгать? Эх, тяжелый какой. Как футляр открывается? А, тут замочки. Так, положу-ка я его на некрасовской эпохи диван.

Ого! Вот это, я понимаю, инструмент. Мне на таком, пожалуй, и не сыграть. Однако, нехорошо держать его в ящике с песком. Не дай Бог, кто-нибудь туда сунется. Надо подальше перепрятать. Понятно. В жестяной короб, где вентиляционные окна. Кажется, решетка сдвигается. Тэк-с. Попробуем... Приржавела. А если ударить ее молотком? Во! Сразу сдвинулась! Ну и грязища же там! Пыли, копоты... Зато понадежней. Здесь он сто лет пролежит — никто и не сунется. А вот нашли б у меня такой инструмент — что бы было? Надо решетку задвинуть обратно. Ну, вот. Все в порядке. Ай, Гамлет! Вовремя я распорядился. Звонок. Кого еще принесло? Надо бы свитер отряхнуть. Да не тренди, открываю! Кого я вижу! Ахтыр? Во, бля, здравствуйте! Какими судьбами? Тысяча лет...

Это был Алфеев Ахтыр, толстый русский поэт. Человек — одновременно простодушный и подозрительный, нервный и жестковывный.

— Да вот ведь, забрел... Забрел, понимаешь, забрел-забрел... А? А? Да ты не стесняйся, не комплексуй! Чего комплексуешь? Я забрел, понимаешь, а? а? — а ты — комплексуешь...

— Проходи, Алфеев, не задерживайся, да не торчи ты в дверях!

— Помешал? Так я уж пойду... Помешал? Не любишь, когда помешал? Так я уж...

— Слушай, Ахтыр, может, кончишь выябвваться?

— Чаю нет? — спросил он деловито.

- Есть, да только зеленый.
- Зеленый? А синего нету?
- А синего — нету.
- Зеленый давай. Я тебе стихи почитаю.
- Отлично. Послушаю с удовольствием. Хотя мне, признаться, и странно, что ты со стихами — ко мне. У тебя ведь своя большая компания. Есть с кем поделиться.
- Мудаки, мудаки, понимаешь? Одни мудаки. Понимаешь? Нет, но, хи-хи, понимаешь меня? Нет, но хи, нет...
- Погоди-ка, садись, я чайник поставлю. Ага, ну, читай.
- Он достал из-за пазухи рукопись, откашлялся, и зачел:

ШЕНКЕЛЯ  
(казацкая песня)

Раззудись, моя натура,  
Разыграйтесь, газыри!  
Пусть клокочет политура  
У меня в нутре, внутри.

Припев: Эх, звените, шенкеля,  
Посвистывайте, шомпола!

Я ль не гордый, не красивый,  
Не лихой, как аргамак?  
Не люблю ль со страшной силой  
Коноплю ль и красный мак?

Эх, звените, шенкеля,  
Посвистывайте, шомпола!

Я не сруль иногородный,  
Не бродяга, и не вор!

Я, могучий и свободный,  
Люблю лопать мухомор!

Эх, звените, шенкеля,  
Посвистывайте, шомпола!

Бергись меня, молодки!  
Все мне, братцы, по плечу!  
А в сельпо не станет водки –  
На «Моменте» проторчу!

Эх, звените, шенкеля,  
Посвистывайте, шомпола!

– Это ты что? – спросил я, несколько ошарашенный. Не боишься, что тебя за такую лирику твои браточки того... Это же какая-то казакофобия получается! Ты, прямо, как малый какой народец... вообще...

– Вот оно сразу и чувствуется, что ты нет, кстати, нет...

– Что – нет?

– А то – нет, что ты не чувствуешь моей боли, моего сардонического к делу этого... Да – нет! Отношения, что люди не делом занимаются, орут-бегают, а не пашут, не детушек, там, растят, а все бегают, пьют и мешаются. Мне ведь их жалко, я на них, ну, ты, зол, ты... Ты в мою боль не врубаешься, ведь тебе – не понять!

– Как это так, не понять? Я в батистовых пеленках, что ль, прозябал? Коржики ел да медом закусывал? Такая ж судьба, как и у тебя – нищий послевоенный пионерлаг, чуточку хулиганки, слесарство на заводе, картошки колхозные собирал на сырых полях... Да и после – ментовали, грозили, пытались уличить... И спивался со всеми вместе – не отставая... Да тебе ли не знать?

– Ты – интеллигент, ты – примазываешься.

— А ты — примазываешься, но не примажешься, потому что тебе — не понять. Моей боли.

— Так чужой боли вообще никому не понять. Что же до общих каких-то картин, какой-то панорамы общественной, жизни нашей горемычной всеобщей — так я уж ее нахлебался. Не меньше твоего. Ну, да спорить и не желаю. Уж давно оговорено, переговорено, забыто и прекращено. К чему декларации? Стишок — звучный. Только, боюсь, попадет тебе за него. Припишут тебе какую-нибудь инородную тетушку, и будешь ты, Ахтырка, ходить с клеймцом... Не боишься?

— Да не, ну а чаю? Ты ж синего обещал!

— Синего — нет, а зеленого — пей. Почайкуем, мой друг, почаевичаем, как в ту самую старину... А ты облысел, брат, изрядно.

— А ты — обседел, дуралей, поседел до макушки. Да, ты — поседел. Скоро — смерть.

— Тьфу, тьфу, тьфу, ну ее, проклятушую. Хочется еще поработать. Да-да! Чертовски хочется поработать, как сказал один великий партиец. Странно все как-то. Бедно, тусово и страшно, а писать и думать — все равно тянет. Это, Алфеев, выше меня. Ей-же Богу.

— Ехать, ехать тебе надо, уехать. Нахера ты здесь мыкаешься, нах... нахера? Нет, ну ответь? Не ответишь.

— Почему ж не ответить? Отвечу. «Нахера» — как-то по-испански звучит. Вот я тебе отвечу по-испански: «Ля мохер эс эль аппарата де ль амор!»

— Ты чего? Ты ругаешься? Не ругайся.

— Да я не ругаюсь. Просто, вспомнилась бессмысленная и звучная фраза, к делу не относящаяся. Разве что, косвенно. «Женщина есть инструмент любви».

— Да, я-то знаю. У тебя, брат, все — светлые кудерьки. Ты все светлыми кудерьками того... Увлечен... Все то...

— Ну и что ж? Ну, и светлые, если на то-то пошло. Подумаешь, кудерьки. Велик грех! Вон, люди друг друга жечь начали, кожу

друг с друга дерут. Велика ли тут невидаль — кудерьки?

— А, ты понимаешь, — нет, ты не секешь — понимаешь, тут связь — между кудерьками и кожей. Кожа там нежная, кудерьки и запястья... это — в начале. А потом, понимаешь, и хочется эту кожу — содрать, а запястья — спалить, для достоверности жизни.

— Ну, не все ведь — такие уебища!

— Конечно, не все. Думай-думай. Но начинается, все-таки, с кудерьков.

— Так что ж? Не любить и не увлекаться? а? Нет, ну ты понял, старая кочерыжка? Потому, что «любовь» — это ваше хваленое чувство-игрушка, приведет обязательно к кожедранию.

— Сам-то ты! — рассердился я на «кочерыжку».

— И сам-то я — тоже. Ну, а твой удел — эстетизм. Да-да, эстетизм-эстетизм.

— А живой «эстетизм», как ты выразился, может, лучше иной мертвой этики. Так что я с тобой и не спорю. Кстати, хочешь экспромт, в порядке эстетства?

— Нет, ну давай.

— Так, значит.

*День, улица, фонарь, аптека.*

*Осмысленный и яркий свет.*

*Живи еще хоть четверть века...*

— Ну-ну. Издеваешься? Издевайся. А мы уж давно с тобой и не спорим. Что говорить с пародистом? Чай кончился?

— Еще заварить?

— Ну, нет — я пойду. А ты, брат, опять комплексуешь? Опять ты, брат, этого — ну, опять? Опять же и комплексуешь, понятно. А я-то пойду.

— Ну, давай, шустри, «политура».

— А ты посиди, кочан кукурузный.

На том и расстались. Есть хочется. Потерпим.

А как ее, все-таки звали? Кажется, Альбертина Лорнетти. Поместил ее в обитом пробковыми щитами машинном. Ротик прелестный, карминно-окрашенный, в машинном лелеял.

— Любишь ли ты меня? — спрашивал. Ротиком нежным, карминно-окрашенным, соглашалась: «Лю-лю». И: «аля» — иногда. И: «улю».

— Нет! — возражал ей, — ужли увлеченность мне незнакомым Гипнотизером тебя незначай достает? Неужто, когда ты идешь из машинного за покупками, или на meeting, ты в самом деле встречаешь Гипнотизера, волнующего и туманного Экстрасенса, и в грубом своем веществе, в подвале или в парадной, жадно ему отдаешься?

— Ну, уж куда там, — ему отвечала — уж ты уже в пробкообитом машинном своем меня так задолбал — дальше некуда!

Но глаза ее столь лукаво блестили при свете оголенных электрических груш, столь волнующе трепетали от сквозняка белесые кудерьки, что... Ах, впрочем, мы, грубые аналитики, хотим усмотреть в чужом человеческом чувстве отчетливость и неделимость прямой генуэзской майолики — так нет же! Оно — недостижимо! Потом он узнал, что во внутреннем кармане ее пальто хранится заговоренный гвоздик, подарок Гипнотизера — но это было потом, когда он только что начинал свою странную вещь, со странным названием — «Любовь зв на».

— Альбертина! — говорил он ей — Альбертина! — и она выпевала «Санта Лючию» из карминного — навзничь — ротика, и тело ее трепетало в каком-то бытийственно-неизъяснимом порыве, смысла которого он так и не понял, и только к двадцатому тому посвященной ей эпопеи приостановился, и принялся-таки чесать свою крепкую высокодумную репу.

Уносит, уносит. Пора бы заняться каким-нибудь нужным делом. Ну, скажем, залить тягомер. Где там пипетка и склянка с синим денатуратом? Операция тонкая. Надо б сосредоточиться. Я б так и сделал, если б не большой аппетит...

Бывало, едал он и котлеты с гарниром из мелко настроганого бефа. Принесши на «козе» по шатким качающимся сходням три ящика с пивом, он сваливал их на камбузе туристского теплохода, и говорил коку: «Пожрать не найдется?»

А тот — и радехонек! На Ладогe их слегка покачало, и капризные развлеканцы к ужину шли неохотно. С утра добро пропало. Наваливал Джеку большущую миску мяса, обтирал своим фартуком угол жестяного стола, открывал бутылочку пива.

— Давай, жри, бичара!

— А сам улыбался своей, недорого ему обошедшейся, щедрости.

— Семья есть? — спрашивал.

— Да не, — коротко отвечал Джек, не переставая жевать. Потом с усилием сглатывал, запивал пивком, и развивал тему.

— К другому придурку, шалава, намылилась. Говорила — пью много. Да и тот, я его как-то стрел, бухарик приличный. Часы на трусы поменяла.

— У меня, грит, духовные запросы — станковой живописью займусь. Ну, как же — она занялась, понятное дело. Станок-то у них, как видно, счастливый — брюхо уже на нос лезет.

— А где проживаешь? — спрашивал кок, позевывая.

— А где, как не у мамашки? Там и прописан, на Шкапина. Компашка там у меня — закачаешься! Витька Бузырь, бывший лоцман, кривая Манятка и Шиш — писатель романов. Какazole железки сойдемся — ну, все! Труба дело! Только подноси да оттаскивай!

Переваливаясь на сытое брюхо по сходням, Джек выбрался на причал. Там он встретил волгарку. Стройная и молодая, она, шустроокая, пригласила его по вечеру в ресторан. Парень он был ничего себе, да и очки, по слабости зрения, придавали ему солидности.

Он вписался на целый день к Симановскому, разгружать мешки с гречей, а под вечер занял у Бейлинского мясника джинсы и красивый пуловер. Симановский щедростью не страдал, но

на одну-то раскрутку должно было хватить. Уходил с пристани под плеск легкомысленных невских волнишек, звуки команд в мегафон: «По местам стоять, с якоря сниматься!» — с Кижевского теплохода, и под его же отвальную:

*Все-все,  
Что в жизни есть у меня!  
Все-все,  
И радость каждого дня!  
Все-все,  
Мои тревоги и мечты —  
Это все,  
Это все —  
Ты-ы-ы...*

— О! Да какой ты попсовый! — удивилась волгарка. Там, в ресторане, к ним какой-то интеллигент привязался.

— Фамилия моя, — говорит, — Феоктистов. — А исповедую я, — говорит, — чистейший тантризм. И верю в реинкарнацию душ.

— А катился бы ты, — говорит ему Джек, — со своею карнацией куда-нибудь дальше. Видишь, люди отдыхают культурно, а ты им пошел мозги пудрить!

— погоди! — осадила его волгарка, напирая на «о», — интересно послушать!

А мальчики с астраханского теплохода только сидят да гогочут — им это в забаву.

Да недолго смеялись. Оказалось, что это был — Фека, авторитетный в бандитских кругах человек. В общем, кончилось тем, что к нему, то есть к Феке, подвалили четверо больших таких, дюжих ребят, и спрашивают его: «Есть проблемы?»

Не было у тантриста проблем. Раскачали бедного Джека, отворили в ресторане окно, и выбросили его, бедолагу, прямо на Невский со второго этажа. Хорошо, как-то он в полете сгруппи-

ровался, и даже ничего не сломал. Только локти там и колени, а также лоб разбил до крови.

Волгарка его пожалела — посадила на тачку, и отвезла втихаря в свою небольшую каюту, на «Сергей Киров». Там он отлежался, и уплыл в Астрахань — устроился на судоремонтном заводе, и со временем на волгарке женился.

Конечно, она ему изменяла — производственная специфика! Но — жили дружно, и в Питер, на Шкапина, он регулярно отправлял переводы — чтоб матушку свою поддержать. Ну, а Шиш, писатель романов, слал ему, на Ульянова, длинные письма, где подробно обсказывал скучные запьянцовские будни. Занятые пуловер и джинсы вернул он посылкой.

Над своею кроватью, как бы в напоминание о преодоленной им тяге к алкогольным напиткам, рядом с глянцевитым, но несколько выцветшим портретом Сталлоне, он приклеил старую этикетку от вышедшего из употребления «золотого» кубинского рома, поразившую его почти стихотворным напевом своего текста:

СТАРЫЙ РОМ  
ГАВАНА КЛУБ  
СУХОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ  
ВЫДЕРЖКИ (7 ЛЕТ)

*Единственный в мире микроклимат и  
наша репутация крупнейшего  
в мире производителя сахарного  
тростника, богатейшая  
традиция в производстве  
рома, насчитывающая почти пять  
веков и 200000 баррелей в  
которых происходит постоянно  
процесс выдержки 50000000  
литров рома. Все это позволяет  
нам предложить Вам ром*

*7-летней выдержки, выдержанный  
достойно, без спешки, как и  
подобает лучшему рому в мире.*

Да. А все-таки, пора бы сходить в наш факультетский буфет, тем более, что там, как всегда в это время, намечается небольшой сходнячок. Собираются из окрестных мыслилиц ученые мужи — обсудить ситуацию. Уже много лет у них эта традиция держится. Ну, и меня, как бывшего соученика своего, в компанию принимают. Надо только сигнализацию безопасности отрубить, чтоб, в случае чего, лишнего звону не было. Да котельную запереть — от греха.

Купив себе кофе и бутербродов, подойдя и вежливо поздоровавшись со всею компанией, я присел за столик, окруженный учеными. Разговор был в самом разгаре.

— Понимаете, — говорил дородный Перфильев, украшенный большими очками и густой белокурою бородой, — в чем-то философ Федоров прав. Даже слабая, романтическая надежда на то, что тебя когда-нибудь воскресят, это — вещь! Избавляет от безнадёжности, и придает жизни особый окрас. Привкус надежды — вот что тут важно!

— Да, милый Глеб Палыч, прекрасно и замечательно! — поддержал его тщедушный Тит Титыч. — Не надо и никакого элениума — чудесное успокоительное!

— А что вы, Тит Титыч, иронизируете? Вас что-то в «философии общего дела» не устраивает?

— Да все не устраивает, коллега! И, простите за резкость, я считаю ее опасной и вредной ересью. Здравствуйте, Зырин.

— Еще раз приветствую, господа. Ну, как тыловые будни?

— Да кряхтим помаленьку, — ответил Тит Титыч.

Нет, но вы представляете, какой апологет Федорова сыскался?

— А что? — сказал я. — Почтенный философ, с весьма необычным взглядом на мир...

— Вот именно, дражайший, вот именно! Весьма необычным. Как уточнил милейший Глеб Палыч, романтическим. А что мо-

жет быть гаже романтической философии?

— Это в каком же смысле? — вспыхнул Глеб Палыч.

— А вот в каком. Федоров, кажется, основной целью грядущего человечества представил воскрешенье; отцов?

— Совершенно верно. Возвышенная и благородная цель.

— Дорогой вы мой, только — по видимости! Отвергнуть подобную цель и ее низвести — совершенно необходимо! Как я уже говорил — в качестве опасной и вредной ереси. И не только необходимо, но и абсолютно нетрудно. Как? Критикуя в двух планах, которые, в чем-то, пересекаются. В мистическом плане и в прагматическом.

— Хм-хм, — хмыкнул Глеб Палыч. — Дай Бог нашему теляти волка съест.

— А запроста! — воскликнул Тит Титыч. — С какого пункта начнем?

— Я — человек современный, — улыбнулся Глеб Палыч. — Меня уж, конечно, интересует план прагматический.

— Ну, хорошо. Не стану утверждать, что технически эта проблема — неразрешима. Тем важнее в ней разобраться в отношении конкретных последствий... Успехи в биотехнологии, и так далее, скоро сделают возможным воссоздание некоторых особей. Я подчеркиваю — не воскрешение, а воссоздание, что, по моему, не одно и то же

— Ох, напугали! Да какая, в сущности, разница?

— Разница есть, и великая, но о ней я — потом. Вы мне лучше скажите, в каком же вы виде будете восстанавливать вами избранного отца? Ну, скажем, математика Лобачевского. В том, в каком находился он перед смертью? Так он же у вас помрет через три минуты.

— А если, так сказать, во младенчестве?

— Хорошо. Во младенчестве. Вы уверены, что в наших уникальных условиях он разовьется именно в профессора математики, а не в забудыгу? Дадут ли ему хваткие и циничные дети нашего века достойно и плодотворно работать?

— Ну, а если — в расцвете сил?

— То есть — забросить сюда человека с опытом тишайшего профессора Казанского университета? Да он у вас на третий день перекинется от загазованности, дурной воды, пищи и стрессовых ситуаций. Ведь организм-то его — не подготовлен! Да ему голубчики с зелеными повязками на головах еще, чего доброго, окна побьют — а он брык, и готово!

— Ну, знаете, Тит Титыч — это все, в принципе, разрешимо. Нельзя ли аргументов — покрепче?

— Хорошо. Продолжаю. Всех ли отцов воскрешать? Допустим — что всех без разбору. Ну, скажем, великого демократа по имени Брут, и великого государственного строителя, воина и писателя, по имени Юлий. Как они будут вместе ходить — убийца и его жертва? Не возникнет ли между ними законной свары? Или — вот сейчас процесс всероссийский идет — о ставропольском садисте, убившем полсотни душ. Ну, расстреляют его — это понятно. А потом, стало быть, его воскрешать вместе с жертвами? А ведь до него обязательно дело дойдет, дайте срок! Если уж всех подряд воскрешать!

— А зачем — всех подряд? Надо — избранных.

— Ну, и кого вы поставите — отбирать? Мол, Сталина с Гитлером — нет, а профессора Павлова — да. Простое ли это дело? Сначала, конечно, подойдут к нему добросовестно. Но годика через два — ослабят контроль — не вечно же суетиться. И начнутся воскрешенья за взятки, в результате политических чьих-то интриг, и так далее... Выйдет — цирк, оперетка, помраченье небес и скрежет зубовный! Я уж не говорю о том, что он, то есть Федоров, довольно недвусмысленно намекает — воскрешать будем только ОТЦОВ. А как же быть с бедною Зоей Космодемьянской? И вообще — с женским полом? Пока что — неясно. К чему я обо всем этом? А к тому, что то, что когда-то станет возможным технологически, никогда не будет возможным в нравственном отношении. Да и все ли, вообще-то, одобряют свое воскрешение? А самоубийцы, к при-

меру? Писатель ну, скажем, Гаршин, кинувшийся в пролет лестницы. Поблагодарит он вас за то, что вы его вытащили на муку?

Кажется, в смысле прагматическом я вопрос так чуть-чуть обсказал. Плавню переходим к мистическому аспекту. Все то, что ваш, дорогой мой Глеб Палыч, кумир предлагает — есть распространение технологической, и, по существу, потребительской психологии — на таинство смерти. А ведь должно быть у человека и человечества — право на тайну! Сказано: «Царство Мое — не от мира сего!» Не от мира! Воскресение мертвых должно быть чудом, и осуществляться по совершенным критериям и всесильною мощью Высшего Существа! Заменять небесное обетованье — людским произволом, машинным процессом — есть, как я уже говорил, опасная ересь, смысл которой — неверие во всемогущество Божие, неверие в чудо — то есть, попросту, атеизм, только внешне имеющий общие установки с Благою Вестью, которую он, в данном случае, пародирует. И воскрешение во всей полноте — не есть воссоздание в колбе. Ибо предполагает не возвращение в царство пространственно-временных колебаний, а — претворенье в жизнь вечную, где времени — нет! Дотумкали?

— Позвольте и мне словцо вставить! — сказал я, отпив кофе. — Кажется, Федоров предлагал в качестве первой меры поставить на кладбищах музеи с башнями, где сыновья будут собираться и отцов почитать. Не напоминает ли вам подобное учреждение и по внешности, и по чисто мужскому своему персоналу — провинциальную пожарную часть с каланчой?

— Вы б не очень-то иронизировали! — оборвал меня добрейший Глеб Палыч, несколько раздражаясь. — Все же речь идет о философе, являющемся нашей национальной гордостью, о котором многие выдающиеся умы отзывались с почтением. А то по поговорке: «Куда конь с копытом...»

— Туда и кочегар с кочергой! Ну, что ж, гран пардон!

Вернувшись в котельную, я тотчас же засел за машинку

— захотелось добить свою сагу про экспедицию Ободинского. Цветочки в стакане по-прежнему чуть колыхались от сквозняка.

*Здравствуйте, милая Маменька.*

*До меня долетело небесным кругом известие, что Вы уже умерли. Я тоже помираю теперь. Остался один в тесной хижине среди льдов, на безымянной вершине. Белая моя борода, еще только вечер согревавшая мою стынущую от холода грудь, не хранит уже ни капли тепла, и являет собой сплошную сосульку.*

*Вчера сюда залетела пестрая, с фиолетовыми искрами, бабочка (или это мне в бреду померещилось?). Ее появление и указало мне на Ваши теперешние обстоятельства.*

*Я рад грядущему облегчению от жизненных тягот, от скитаний в горах, от тоски по Вам, милая матушка, и по оставленной родине. Только вершины могучих Анд станут свидетелями моей кончины. Уже не чувствую холода, и мне тут покойно и хорошо.*

*Вспоминаю могилку моего старшего братика Георгия, упокоившегося во младенчестве, и похороненного в правом приделе нашей семейной церковки Вознесенья Христова. На надгробной плите его выбита трогательная надпись: «Покойся милый прах до радостного утра». Твердо уповаю на грядущее воскресение мертвых, и на наше свидание в той яркой отчизне, где смерти нет.*

*Я не оставил здесь, на грешной земле, ни потомства, ни свидетельства особых своих трудов. Но, стремившись прожить свою жизнь по заветам Евангельским, кажется, немного и накопил прегрешений. Спаси Вас Господь.*

*Ваш Петруша.*

Так. А где же Евгений? Пора бы ему объявиться — ведь обещал. Думали пойти прогуляться. Что это там шуршит за котлами? Ага, Маруська пожаловала! Ах ты, Марусенька, ах ты, киса! Не хочешь кожуру колбасную? На, погрызи, дурочка! И откуда же вы, такие умненькие, беретесь? Кошурка жрет кожурку.

Мур-мур?

Ну, вот, опять кого-то нелегкая принесла! Может, Евгений? Надо открыть.

В дверях стоял пожилой армянин с потухшими, сумрачными глазами. За ним — широкоплечий амбал, черноусый и хищный лицом, какие в Питере все-таки нечасто увидишь — молодым, но исполненным такой зловещей решимости — и не решимости даже, а полной и автоматичной готовности действовать по приказу — убить или умереть, все равно.

— Здравствуйте, — сказал пожилой. Меня послал Гамлет. Он просил передать мне свой инструмент. Отдайте, пожалуйста.

Он говорил по-русски с легким кавказским акцентом — в смысле произношения, но речь его строилась совершенно правильным образом; чувствовалось, что говорит человек образованный и проживший в России.

— Инструмент? Какой инструмент? — спросил я. — Вы, наверное, что-то путаете.

Пожилой бросил несколько слов по-армянски своему спутнику, и тот поглядел на меня ничего не выражающим взглядом, только выставив длинную ногу в модном ботинке, наглухо блокировал дверь, чтобы я ее не захлопнул.

— Не беспокойтесь, — сказал пожилой, — тут не имеется никакой путаницы. Понимаете, Гамлету надо срочно уехать. Точнее — он уже отбыл. А свой инструмент попросил забрать. Вы же не собираетесь оставить его себе?

— Нет, нет, конечно. Но, все-таки, надо же доказать, что вы — от него. Вот я отдам его вещь незнакомому человеку, а он за ней явится. Что мне тогда поделывать прикажете?

— Дэ инч эс нра хет хосум? — бросил молодой по-армянски.

Пожилой игнорировал его замечание.

— Доказательства... — задумчиво сказал он. — Вообще-то я вас понимаю. Но где же я вам найду?.. А, вот доказательство!

Он полез во внутренний карман пиджака. Я напрягся. Он бережно вытащил из бумажника слегка выцветшую, не цвет-

ную, но от руки раскрашенную фотографию. На ней красовался он сам с годовалым ребенком на фоне ядовито-зеленого травяного откоса. Рядом паслась пара белых овец. Горизонт венчала волнистая гряда невысоких гор.

Он выглядел значительно моложе на фотографии, но был узнаваем. А ребенок? Да просто — маленький мальчик с большими и темными, чуть испуганными глазами.

— Ну вот, — сказал он. — Ведь это — мы с Гамлетом. Понимаете, он не успел инструмент с собой прихватить, а тот ему дома очень понадобится. Вы его узнаете?

— Так, — подумалось мне. — Небо, горы и овцы. Первое в истории христианское государство. Все равно, они инструмент заберут — нечего и чиркать! Карабах и все прочее...

— Узнаю, ну конечно! — ответил я. — Сейчас выдам. А вы — заходите.

Мы вошли в теплое нутро моей кочегарки, причем я совершил сравнительно крупную, как оказалось, ошибку, забыв запереть за собою дверь. Может быть, подсознание сработало, и я ее специально открытой оставил — на всякий случай. Гости не обратили на это ровным счетом никакого внимания.

Сняв с батареи сравнительно чистую, еще даже влажную тряпку, я достал из вентиляционного короба тяжелый футляр с инструментом, обтер его от налипшей на стенки пыли, и протянул пожилому. Он тотчас же отдал футляр своему молодому спутнику, что-то прибавив по-армянски.

— Надо проверить! — сказал он мне, улыбнувшись одними губами.

Амбал грохнул футляр на мой письменный стол, так что телефон и пишущая машинка согласно звякнули, и открыл крышку. На красном бархате лежал тот предмет, который я и ожидал увидеть — вороненый новенький АКМ. А к нему — несколько тяжелых рожков, набитых патронами.

— Все верно! — сказал пожилой. — Спасибо, что сохранили. А вот вам — подарок небольшой — от сражающегося за свободу народа!

И, достав из портфеля, поставил рядом с футляром, машинкой и телефоном поллитровую бутылочку «Арарата».

— Ага, стволы тюхаешь! — раздался из-за наших спин, склонившихся над столом, чей-то издевательский голос.

Я оглянулся. У фронтальной стенки котла, мигавшей желто-синими сполохами из круглых окошечек, стоял Ландрин, полумент-полуурловой, и издевательски улыбался.

— Вадик, не гоношись! — ответил я после некоторой паузы. — Человек попросил тромбон передать товарищам...

— Тромбон, говоришь? — переспросил он с язвительной миной. — А дай-ка я посеку, что у вас за тромбон!

И он протянул свою красную от холода руку к футляру, захлопнутому при первых звуках его голоса.

— Попрошу вас не трогать! Вещь, кажется, вам не принадлежит! — отбросил пожилой его руку.

— Ого! Коньяк собираетесь лопать! — усмехнулся Ландрин. — Мир-дружба между нацменами? А вот если в менты?

На меня накатила редкая, очень редкая волна ярости, абсолютно лишаящая не только привычного страха, но и вообще способности рассуждать. Багровые круги поплыли перед глазами.

— Я, между прочим, русский писатель! — хрипло выдохнул я. — И мне глубоко отвратительны все, способные бить, доносить, убивать. Какими бы соображениями эти действия ни оправдывались. Развелось вас на свете, как шакалов! От вас и в подвале котельном не укроешься! Во-о-он!

Я схватил тяжелый футляр со стола, слегка отступил, и с разбегу, действуя им, как тараном, свалил инстинктивно сблизившихся для предстоящей схватки Вадима и неразговорчивого амбала. Миновав их и добежав до дверей, я с размаху выбросил футляр на асфальт.

Тот раскрылся от удара, и из него высыпался припасенный боезапас.

Первым достиг оружия пожилой. Он присел на корточки, и стал тщательно собирать рассыпанные по асфальту рожки. По-

том из дверей котельной вылетел, явно не своей волей, а как бы двинутый ногой в зад, Ландрин. За ним выскочил и амбал. Он набросился на Вадима, и оба покатались по жесткому сухому асфальту.

Я поглядел на дерущихся, смачно сплюнул, и ушел к себе, закрыв за собою дверь на замок. Она жестью оббита, а окна — зарешечены — пойдя — сунься! У одного-то окошка, правда, шпингалеты отдернуты, ну да то — с улицы, а не со двора. Едва ли дотумкают!

Первое, что я сделал, слегка отдышавшись, это — выплеснул цветы из стакана. Потом откупорил чудом уцелевшую бутылочку коньяку, налил себе на две трети, и выпил, не закусывая. На дворе было тихо.

— Вот бляди! — выкрикнул я про себя. — Кшатрии хуевы! Когда же весь этот бардак, наконец, рассосется?

Закурил, и прилег на диван — лежал среди полублобманых резных финтифлюшек, и думал, что жизнь моя — кончена. Суетился, трудился, бездельничал, пил и таился от КГБ. Каков результат? Томик изданной прозы, несбывшиеся амбиции, и — никаких перспектив. Да, для нас эти годы, безвкусно именуемые «застойными», были, как какой-то извращенный советский «хэйан», с его изнеженностью, утонченную прелестью и неспособностью к жестокой борьбе. И когда наступила суровая эпоха сегунов, нам тут ничего не обломится. Пора уходить.

Вот я и ушел — в крепкий сон. Видимо, переволновался, и это была такая реакция психики. Меня никто не беспокоил, бойцы по-мужски, играя желваками на скулах, разобрались между собой без меня. За что и выношу им свою благодарность.

Когда я проснулся, паровик трясло и почти что наглядно качало. Кажется, насчет «уходить» — сон был вещий. Воду я упустил, и ужасно — сейчас долбанет. Почему автоматика не сработала?

Я еще полежал с полминуты, приходя в себя и тупо созерцая трясущийся, набирающий безумную силу разрушения паровик.

Наконец, как ужаленный, слетел я с дивана, выбежал на улицу, трясущимися руками отпер шкафную, и двинул кулаком по сцепленным молоточкам. Сипение прекратилось. Топливо на котел поступать перестало. Но я туда не пойду. Пусть сначала остынет.

Тут кто-то тронул меня за плечо.

— Зырин, привет! — сказал Женя. — Ты что это вздрыгиваешь, лысый? Не ждал?

Он всех «лысыми» называет. Такое обыкновение. Наверное, потому, что сам — лысый.

— Да как же не ждал, как раз — ждал! У меня там упуск страшнейший, понимаешь. Паровик танцует гопака. Надо бы погулять, подождать, когда он остынет. По городу, может, прошвырнемся?

— А как ты вернешься? Вахтер дверь запрет.

— Вернусь! На что же окно? Между прочим, открывается с улицы, вместе с решеткой. Так сказать, секрет фирмы. Попадаешь из-под аркады — прямо в машинное. И снаружи не видно, как залезаешь — из-за колонн...

— Неплохо ты, лысый, устроился! Тогда запирай, и пошли. А вообще — ты даешь! Упуск организовал — это надо же!

— Ну, что ж, — подумалось мне. — Взрыва нет, так, может быть, и не будет. Жаль, недопитая бутылка там остается. Ну, да в котельную все же лучше не лезть. Пройдем через поликлинику. Чтобы вахтер не засек.

Мы вышли на улицу, прямо на Стрелку Васильевского острова, к полуразрушенным известняковым скульптурам под рострами. Мохнатые от бурьяна, проросшего сквозь швы, гранитные бастионы Петропавловской крепости золотило уходящее осеннее солнце. Желтели кроны деревьев на том берегу; сквозь них торчали отмершие, неживые черные сучья.

Перешли по мосту на Петроградскую, и тронулись изрытыми, растрескавшимися асфальтовыми тротуарами, усыпанными слетевшей с карнизов, разбившейся в пыль штукатуркой. Чуть не натолкнулись на сдвоенные толстые доски, подпирав-

шие треснувший, норовящий свалиться эркер. Перепрыгнули открытый, зловеще зияющий люк.

Прошли мимо Тучкова моста, стадиона на острове, перешли по мосту через протоку. Уселись на скамейке под деревом, глядя, как разгораются в синем воздухе редкие вечерние фонари. Евгений достал из наплечной сумки бутылку борimotoхи.

— Ну, треснем? — предложил он.

Мы выпили из холодного толстого горлышка, поглядели, как пенится в кронах и отлетает уносимая ветром в протоку листва. Желтая и сухая, как бы замшевая, дорожка бежала по воде, змеилась вниз по течению, огибая борта большой, утонувшей недалеко от берега лодки. На крыше ее кубрика, торчавшей над водой, лежал дырявый сапог.

— Смотри-ка, — сказал я Евгению, — каши просит! Как труп с отвалившимся подбородком! Так и хочется подвязать!

— Эй, лысый, ты чо? — ответил Евгений. — Какие-то у тебя задвижки макаберные! На тебя что ли упуск подействовал? Так плюнь — не впервой!

Я промолчал.

Мы долго бродили по ночному осеннему городу, и даже наступившая тьма не могла скрыть картины его упадка и разорения. Погрелись у жаровни ночного шашлычника, колотившего в щепки и жегшего в жар старинной работы секретер. Обогнули подержанную импортную тачку, запаркованную прямо на газоне и выпершею бампером на тротуар. Немного посидели на поваленном дереве, в скверике у глухой, без окон, стены. Допили бутылку.

— Ну, ладно, — сказал Евгений, — пора мне, лысый, домой — детисек купать. Будь здоров.

Задумавшись, нагнув голову, подходил я к желтой аркаде. Вдруг до меня донесся негромкий, как бы праздничный говорок. Я замер. Вокруг моего окошка суетились пожарные в брезентовых робах, перепоясанные ширококими кожаными ремнями.

Так. Неужели — допрыгался? Неужели — пожар? Сейчас туда лезть нельзя — засекут. Пошел вдоль здания, свернул за угол. На

площади перед БАНом\* скопилось штук шесть пожарных машин. Высокий молодой офицер командовал целую толпою пожарных. Место — безлюдное ночью, и зрителей почти не было. Неужели посадят? Бросил свой пост, способствовал возгоранию... Катастрофа!

Уж совсем я засобирался домой — делать нечего! — да случайно повел глазами вслед за указующим перстом офицера, направленным куда-то поверх голов, в сторону самого высокого на площади здания. Я поднял голову, и увидел — нет, не огонь, а густой серый дым, пронизанный крупными красными искрами. Огонь бушевал в верхних этажах, а дым — непрерывно вываливался из окон.

— Бат-тюшки! — сказал я себе, стараясь смирить невольный восторг. — Да это, никак, БАН горит? Кажется, на сей раз — пронесло...

1992

---

\* Библиотека Академии Наук

# Содержание

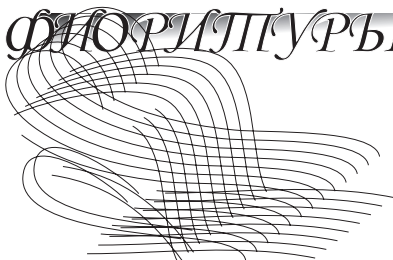
Предисловие.....	5
<b>ФИОРИТУРЫ.....</b>	<b>7</b>
Разговор.....	9
Три мента.....	10
О существенном.....	11
Смерть, не смерть?.....	12
Смерть под парусом.....	14
Гламур — мон амур.....	17
Два града.....	19
Перочистка, пенал, Гинденбург.....	21
Идея.....	23
Сик транзит gloria мунди.....	24
Урок.....	25
Справка.....	26
Оазис.....	28
Перебежчик.....	29
Учитель и его палка.....	31
Автостоп 1970 года.....	32
Игры молодецкие — пляски половецкие.....	35
Наш человек.....	36
Другое дело.....	37
Деревушка. Особняк.....	38
Ночной дозор.....	39
Зарницы и колбаса.....	42
Фиоритура осенняя.....	44
Несбывшееся знакомство.....	46
Сам себе Петербург.....	47

Слоновая кость и немного стали.....	50
Ответ .....	53
Рыцарь веселого образа .....	54
Советы на февраль для культурно пьющего человека .....	56
Смирись, о гордый человек!.....	58
Окушок .....	59
Ветры анафемские .....	60
Дожили .....	61
Дожили (продолжение).....	62
Случай .....	63
Бог .....	65
В блокаду .....	66
Делянка .....	67
Осенью.....	68
ЗАДВИЖКА (повесть) .....	69

ISBN 978-5-904699-05-5

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

# ФЛОРИДЫ



Отпечатано с готовых диапозитивов.  
Формат 70x90/16. Усл-печ. л. 7,87  
Типография «Анонс»

## Евгений Звягин



Старый петербургский прозаик и эссеист. Родился в 1944 году в эвакуации (в начале войны с Германией часть женщин, детей и стариков вывели из Ленинграда под угрозой осады города). Семья вернулась домой в 1949 году.

В 1969 Звягин закончил Русское отделение филфака ЛГУ. Ранее дебютировал стихами в районных газетах Ленобласти. Работал слесарем на заводе, такелажником в Эрмитаже, научным сотрудником музея Пушкина, репортером в заводской многотиражной газете. Вел колодку искусств в газете «Петербургский литератор».

С 1976 года — на «вольной» работе — механиком по лифтам, оператором газовой котельной.

Много лет подряд ездил рабочим в археологические экспедиции. Побывал на Псковщине, в Крыму, в Хакасии, горах Копет-Дага в Туркмении, Бешкентской долине Таджикистана.

Участвовал в изданиях: «Часы» (с 1977), «Обводный канал» (с 1981) и других самиздатских журналах и альманахах.

Повесть «Корабль дураков или записки сумасброда» (1970) была опубликована в нашумевшем сборнике «Круг» (1985).

Повесть «Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки или напиться на халяву» (1980) издавалась не менее шести раз.

Автор четырех книг.

Активно участвовал в журналах «Континент» (еще при Максимове), «Родник», «Нева», «Звезда». Тексты переведены на английский, итальянский, украинский.

Живет в Петербурге.